

карлъ марксъ.

О СВОБОДЪ ПЕЧАТИ.

Перевель съ нъмецкаго В. А. Креверъ.

Подъ редакціей М. А. Кроля.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1906.



Типографія "Будущность", 2-я Роджественская, 14.



Засъданія шестого рейнскаго пандтага *).

(Впечатлѣнія рейнскаго обывателя).

Пренія по вопросамъ о свободъ печати и объ оглашеніи дебатовъ земскихъ чиновъ.

Публикованіе преній, происходящихъ въ собраніи земскихъ чиновъ, только тогда можно признать дъйствительнымъ, когда эти пренія разсматриваются, какъ "общественное достояніе", т. е. дълаются предметомъ обсужденія въ печати. Ближайшему нашему разбору подлежать труды послъдней сессіи рейнскаго ландтага.

Мы начнемъ съ "преній о свободѣ печати" и считаемъ нужнымъ оговориться, что, хотя при обсужденіи нами даннаго вопроса, мы иногда будемъ высказывать наши собственные взгляды, но въ дальнѣйшихъ статьяхъ мы будемъ слѣдить за трудами ландтага и разсматривать ихъ преимущественно съ точки зрѣнія историка-наблюдателя.

Такое различіе въ отношеніи нашемъ къ разнымъ вопросамъ вызывается самымъ характеромъ трудовъ ландтага. Во время преній по всёмъ остальнымъ вопросамъ мивнія земскихъ чиновъ, несмотря на ивкоторое ихъ различіе, оказывались приблизительно на одинаковомъ уровив. Напротивъ, въ вопросв о печати

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ **ᲞᲐ**ᲠᲚᲐᲛᲔᲜᲢᲘᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜ**ᲣᲚᲘ Გ**ᲘᲒᲚᲘᲝᲗᲔᲙᲐ

^{*)} Статья эта, первоначально напечатанная въ "Рейнской Газетъ", вошла въ I т. изданнаго Фр. Мерингомъ "Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engéls und Ferdinand Lassall



противники свободной печати обладали значительными преимуществами. Оставляя въ сторонъ тъ "крылатыя" слова и общія мъста, которыя носятся въ воздухѣ, мы находимъ у противниковъ свободной печати бользненный аффектъ, страстное предубъжденіе, которыя дають имъ возможность занять дъйствительную, а не воображаемую позицію по отношенію къ печати, въ то время какъ защитники свободы печати въ этомъ ландтагѣ вообще не проявляють никакого реальнаго отношенія къ своему протеже. Они, эти защитники, никогда не ощущали потребности въ свободѣ печати. Она для нихъ вопросъ разума, но сердце ихъ никакого участія въ этомъ дѣлѣ не принимаетъ; она для иихъ "экзотическое" растеніе, къ которому они относятся только какъ любители. Вотъ почему противъ особенно "важныхъ" доводовъ противниковъ были выставлены слишкомъ общія и расплывчатыя разсужденія, и самая ограниченная мысль считалась весьма важной. до тѣхъ поръ, покуда не была доказана ея ничтожность.

Гёте какъ-то сказаль, что художнику удается только такая женская красота, типъ которой онъ любилъ хотя бы въ одной живой женщинъ. Свобода печати есть также красота, хотя и не женская, которую надо любить, чтобы быть въ состояніи защищать ее. Существованіе того, что я дъйствительно люблю, я воспринимаю какъ необходимость, какъ то, въ чемъ я ощущаю потребность и безъ чего мое существо не можетъ найти полнаго и всесторонняго удовлетворенія. А эти защитники свободы печати могутъ, повидимому, прекрасно существовать и безъ нея.

Либеральная оппозиція указываеть намъ высоту уровня политическаго собранія, точно также какъ оппозиція вообще указываеть высшую точку подъема общества. Такая эпоха, когда сомнѣваться въ существованіи привидѣній — значить обладать философскимъ мужествомъ, когда возмущаться процессами противъ вѣдьмъ—значить идти противъ общаго мнѣнія, такая эпоха есть законная эпоха привидѣній и процессовъ противъ вѣдьмъ. Страна, которая, какъ древнія Аеины, считала прихлебателей, паразитовъ, льстецовъ исключеніями изъ народнаго разума, третировало ихъ, какъ "народныхъ" дураковъ, есть страна независимости и самостоятельности. На-



родь, который, какъ всѣ народы добраго стараго времени, предоставиль только придворнымъ шутамъ право думать и высказывать правду, можетъ быть только народомъ рабства и зависимости. Сеймъ, въ которомъ оппозиціи приходится доказывать, что свобода воли составляетъ основную черту человѣка, по меньшей мърѣ не есть сеймъ, обладающій свободной волей. Исключеніе лишь подтверждаетъ правило. Либеральная оппозиція показываетъ намъ, какова позиція либераловъ и насколько свобода воплотилась въ жизни.

Если мы выше замѣтили, что защитники свободы печати въ ландтагѣ совершенно не оказались на высотѣ положенія, то еще съ большимъ правомъ это можно сказать обо всемъ вообще

ландтагв.

И при всемъ томъ мы возвращаемся къ разсмотрѣнію дебатовъ земскихъ чиновъ по данному вопросу, не только изъ интереса къ свободѣ печати, но также изъ интереса ко всему ландтагу вообще. Мы нигдѣ не найдемъ специфическаго сословнаго духа въ болѣе рѣзкой формѣ, болѣе опредѣленно и полно выраженнымъ, чѣмъ въ дебатахъ о печати. Въ особенности это относится къ оппозиціи противъ свободы печати, ввиду того, что въ оппозиціи противъ какой-либо общей свободы наиболѣе яростно, безпощадно и озлобленно пробивается духъ обособленности, индивидуальные интересы отдѣльнаго сословія и природная косность характера.

Пренія дають намъ полемику княжескаго сословія противъ свободы печати, полемику дворянско-рыцарскаго сословія, полемику горожанъ, словомъ, полемизирируєть не отдъльный индивидуумъ, а цълое сословіе. Какое же зеркало върнъе отразить внутренній характеръ нашего ландтага, чъмъ дебаты о

печати?

* *

Мы начнемъ съ тѣхъ, которые говорили противъ свободы печати и, какъ это полагается, съ оратора изъ княжескаго сословія.

На первой части его ръчи, въ которой онъ заявляетъ, что



"и свобода печати, и цензура обѣ не годятся и т. д.", мы не будемъ останавливаться по существу, такъ какъ этотъ вопросъ быль основательно разобрань другимь ораторомь; но мы не

можемъ оставить безъ вниманія аргументацію оратора.

"Цензура менѣе вредна, чѣмъ разнузданность печати. Это убѣжденіе все больше и больше укрѣпляется въ "нашей Германіи" (спрашивается, какая это часть Германіи) настолько, что союзомъ даже изданы по этому поводу законы, которые были предложены Пруссіей и которымъ она сама подчини-

Ландтагь занимается вопросомъ объ освобожденіи печати отъ оковъ. Но сами эти оковы, восклицаетъ ораторъ, эти цѣпи, въ которыя закована печать, доказывають, что она не предназначена къ свободъ. Ея скованное существование говорить противъ нея. Законы противъ свободы печати опровергаютъ

по существу самую свободу печати. Это—дипломатическій аргументь противь всякой реформы, который самымъ нагляднымъ образомъ выражаетъ классическую теорію изв'єстной партіи. Всякое ограниченіе свободы есть фактическое, неопровержимое доказательство того, что у господствующихъ круговъ разъ навсегда составилось убъждение въ необходимости ограничить свободу, а это убъждение въ свою очередь служить основаниемъ для всъхъ дальнъйшихъ выводовъ.

Приказано было однажды, чтобы солнце не вращалось во-

кругъ земли. Былъ Галилей опровергнутъ?

Такимъ же образомъ въ "нашей Германіи" создалось "на законномъ основаніи" уб'єжденіе, разд'єляемое отд'єльными что крѣпостное состояніе есть нормальное состояніе опредъленнаго разряда людей, что истина наиболъе очевиднымъ образомъ доказывается хирургическими операціями (мы разум'вемъ пытки), что "геенну огненную" надо демонстрировать еретикамъ кострами еще здісь на землѣ.

Развъ узаконенное кръпостное право не было фактическимъ доказательствомъ противъ той странной причуды, что человъческое тъло не можеть быть объектомъ торговли и владънія? Развъ пытки не опровергали ту пустую теорію, что кро-



вопусканіемъ нельзя высосать истину, что дыба не м'яшаеть челов'яку держать высокоподнятой свою голову, что судороги

не означають еще признанія?

Точно также, думаеть ораторь, существованіе цензуры опровергаеть свободу печати. Это до нікоторой степени фактически візрно, но это такая фактическая истина, что величину ея можно изміврить топографически, такъ какъ за преділами извівстныхъ пограничныхъ заставъ она уже не фактъ и не истина.

"Ни въ области слова, ни въ области печати", учатъ насъ далъе, "ни въ нашей провинціи, ни во всей остальной Германіи истинное развитіе всего благороднаго и прекраснаго до сихъ поръ не было сковано". Благородная "правдоточивость"

нашей прессы есть даръ цензуры.

Мы обратимъ теперь изложенную аргументацію оратора противъ него самаго; вмѣсто разумнаго основанія мы сощлемся на законъ. Въ новѣйшей прусской инструкціи для цензоровъ оффиціально указывается на то, что до сихъ поръ печать под-вергалась слишкомъ большимъ ограниченіямъ, что ей теперь только предстоить добиться своего истиннаго національнаго значенія. Пусть ораторъ видить, что уб'єжденія, господствующія въ *"нашей Германіи*" весьма разнообразны.

Но что за безсмысленный парадоксь—видъть въ цензуръ

благопріятную почву для развитія нашей лучшей прессы!

Величайшій ораторъ французской революціи, громовой голосъ котораго еще звучить и въ наше время, тоть левъ, рычаніе котораго нужно слышать самому, чтобы вмѣстѣ съ народомъ закричать ему: "хорошо ты рычишь, левъ!" — Мирабо получиль свое образованіе въ тюрьмахъ. Слъдуеть ли поэтому тюрьму признать высшей школой ораторскаго искусства?

Это дъйствительно княжескій предразсудокъ—когда нъмецкій духь, вопреки всей системъ запретовъ, сталь обдълывать свои дъла въ крупномъ масштабъ, —думать, что таможенныя заставы и кордоны сдълали его крупнымъ дъльцомъ. Духовное развитіе Германіи росло не благодаря цензуръ, но вопреки ей... Когда печать страдаетъ и гибнетъ подъ гнетомъ цензуры, то такое положеніе вещей выставляють, какъ аргументь



противъ свободы печати, хотя оно свидѣтельствуетъ только противъ угнетенія. Когда печать вопреки цензурѣ на дѣлѣ обнаруживаетъ свое полное глубокаго смысла содержаніе, то относится на счетъ цензуры, хотя это обстоятельство гово-

рить только за свободу духа, а не за оковы.

Впрочемь, это находится въ связи съ , истиннымъ развитіемь всего благороднаго". Въ эпоху самой строгой цензуры, съ 1819 г. до 1830 г. (позднъе цензура, если не въ "нашей Германіи", то, по крайней мъръ, въ большей части остальной Германіи подъ вліяніемъ духа времени и разныхъ теченій, возникшихъ тогда, сама была подвергнута цензуръ) наша литература переживала свою эпоху "вечернихъ газетъ", которую съ такимъ же правомъ можно назвать "истинной, благородной и полной духовнаго развитія", съ какимъ редакторъ вечерней газеты, нъкій провинціалъ Винклеръ юмористически назвалъ себя "дучомъ свъта", хотя мы не мало должны хвалить его за то, что его лучь проникаль въ трясину въ это темное время. Этоть захолустный житель провинціальнаго угла, съ кличкой "лучь свъта" можеть считаться прототипомъ тогдашней литературы, которой "великій пость" докажеть потомству, что если немного святыхъ могуть прожить сорокъ дней безъ пищи, то вся Германія, которая никогда небыла святой, ухитрилась прожить болье 20-ти льть безъ всякаго производства и потребленія въ области духа. Печать пресмыкалась, и сомнъніе возникало лишь относительно того, что въ ней преобладаеть, умственное убожество надъ нравственнымъ, отсутствіе формы надъ отсутствіемъ содержанія или наобороть. Для Германіи критика сдълала бы самое большое дъло, еслибы она могла доказать, что этого періода вовсе не было. Въ единственной области литературы, гдъ тогда еще бился пульсъ жизни, въ области философской, перестали говорить по нѣмецки, такъ какъ нѣмецкій языкъ пересталь быть языкомъ мысли. Духъ произносить непонятныя мистическія слова, потому что понятныя слова больше не должны были быть понятными.

Что же касается примъра рейнской литературы,—а этотъ примъръ во всякомъ случат ближе всего касается рейнскихъ сословій,—то можно съ фонаремъ Діогена въ рукахъ обойти



всѣ пять округовъ, и нигдѣ не встрѣтить "настоящаго человъка". Такое обстоятельство мы считаемъ не недостаткомъ рейнской провинціи, а гораздо болже доказательствомъ ея практически здраваго политическаго смысла. Рейнская провинція въ состояніи создать свободную печать, но для созданія порабощенной прессы ей достаеть ни ловкости, ни воображенія.

Только что закончившійся литературный періодь, который мы можемь назвать періодомь строгой цензуры, является очевиднымъ, историческимъ доказательствомъ того, что цензура во всякомъ случав нанесла непоправимый, ничвиъ неоправдываемый ущербъ развитію нвмецкаго духа и что поэтому она никонмъ образомъ не предназначена, какъ думаетъ ораторъ, для роли "magister'a bonarum artium". Или можеть быть подъ "истинной прекрасной печатью" разумъють печать, которая съ достоинствомъ носитъ свои цѣпи?

Если ораторъ позволяеть себф вспомнить извъстную поговорку "о маленькихъ пальцахъ и цѣлой рукъ", то мы позволимъ себъ спросить его, не соотвътствуеть ли больше достоинству правительства отдать для развитія духа своего народа, не

одну руку, а объ руки.

Нашъ ораторъ, какъ мы видѣли, разрѣшаетъ вопросъ о соотношеніи между цензурой и духовнымъ развитіемъ небрежно съ важнымъ видомъ, дипломатически трезво. Еще опредѣлениъе представляетъ онъ отрицательную сторону своего сословія въ своихъ нападкахъ на историческія формы, въкото-

рыхъ проявлалась свобода печати.

Что касается существованія свободы печати у другихъ на-родовъ, то "Англія никоимъ образомъ не можетъ быть образ-цомъ, такъ какъ тамъ уже въ теченіе столѣтій, историческимъ путемъ, создались такія отношенія, которыя ни въ какой другой странъ теоретическимъ путемъ не могутъ быть вызваны къ жизни, но которыя обязаны своимъ возникновеніемъ осо-бенностямъ англійской жизни". "Въ Голландіи свобода печати не могла спасти народа отъ тяжелыхъ національныхъ долговъ и главнымъ образомъ только способствовала революціи, им'ьв-шей своимъ посл'ядствіемъ потерю полсвины ея территоріи". Францію мы пропускаемъ, чтобы вернуться къ ней позже.



"Наконецъ, Швейцарія, представляєть ли она какое-то Эльдорадо, осчастливленное свободой печати? Развѣ можно безъ отвращенія вспомнить грубыя войны между партіями, имѣвшія мѣсто на страницахъ тамошнихъ газетъ, войны, въ которыхъ названія партій, въ полномъ соотвѣтствіи съ ихъ малымъ человѣческимъ достоинствомъ дѣлились на "рогатыхъ" и "копытныхъ", сообразно частямъ тѣла животныхъ, и которыя стали ненавистны всѣмъ сосѣдямъ, благодаря своимъ плоскимъ пасквилямъ!"

Англійская печать вообще ничего не говорить за свободу печати, потому что она покоится на исторических основаніяхъ.

Печать въ Англіи имъеть заслуги потому, что она "историческая", а не какъ печать вообще, которая должна была бы возникнуть безъ историческихъ основаній. Только исторія имъеть заслуги, а не печать. Какъ будто печать не относится къ исторіи, какъ будто англійская печать въ царствованіе Генриха VIII, Маріи Католической, Елизаветы и Іакова не вела ожесточенной, часто варварской войны для того, чтобы завоевать англійскому народу его "историческія основанія"?

И разв'в не говорить, напротивъ, въ пользу свободы печати то, что англійская печать при полномъ отсутствіи всякихъ стъсненій не дъйствовала разрушающимъ образомъ на "историческія основанія"? Но оратора непослъдовательность не

смущаетъ.

Англійская печать не показываеть въ пользу печати вообще, потому, что она англійская. Голландская печать говорить противъ печати вообще, хотя она только голаландская. Одинъ разъ всѣ преимущества печати присвоены "историческимъ основаніямъ", въ другой разъ она отвѣчаетъ за всѣ недостатки "историческихъ основаній". Въ одномъ случаѣ печать не должна имѣть никакой доли въ историческихъ совершенствахъ, въ другомъ случаѣ исторія не должна имѣть никакого участія—въ недостаткахъ печати. Но какъ печать въ Англіи развивалась вмѣстѣ съ ея исторіей и особенностями ея положенія, точно также это было и въ Голландіи и Швейцаріи.

Должна ли печать отражать "историческія основанія", сохранять ихъ или развивать? Каждую изъ этихъ функцій

ораторъ ставить ей въ упрекъ.



Онъ порицаетъ голландскую прессу, потому что она историческая. Она должна была помъщать исторіи, она должна была спасти Голландію отъ тяжелыхъ національныхъ долговь! Какое не-историческое требованіе! Голландская печать не могла помъщать эпохъ Людовика XIV; голландская печать не могла помъщать тому, чтобы англійскій флотъ подъ начальствомъ Кромвеля сдълался первымъ европейскимъ флотомъ; она не могла заколдовать океанъ, который возложилъ на Голландію тяжелую роль—быть театромъ военныхъ дъйствій континентальныхъ державъ; также мало, какъ всъ цензуры въ Германіи, она могла парализовать деспотическія дъйствія Наполеона.

Но развъ свободная печать увеличила тогда сумму національнаго долга? Когда въ регентство принца Орлеанскаго вся Франція потеряла голову на финансовыхъ афферахъ Джона Ло, кто еще выступилъ противъ этой фантастической Sturm und Drang эпохи денежной спекуляціи, кромъ нъсколькихъ сатириковъ, которые во всякомъ случат владъли не банковыми билетами, но билетами для того, чтобы попасть въ Ба-

стилію?

Требованіе, чтобы печать охраняла государственные долги и, что можно дал'є вывести отсюда, уплатила отд'єльнымъ индивидуумамъ ихъ долги, напоминаетъ исторію того литератора, который постоянно сердился на своего врача за то, что тотъ хотя излечилъ бол'єзни его тісла, но вмістіє съ тісмъ не избавиль отъ опечатокъ его произведенія. Свобода печати такъ же мало, какъ и врачь, об'єщаетъ сділать челов'єка или ціслый народъ совершеннымъ. Она сама по себі совершенство. Это очень тривіальная манера—порицать одно благо за то, что оно опреділенное благо, а не всіб блага вмістіє взятыя, за то, что оно—такое благо, а не другое. Безъ сомнічнія, если бы свобода печети была благомъ всіхъ благь, то она сділала бы излишними всіб другія функціи народа, и даже самый народъ быль бы лишнимъ.

Ораторъ упрекаетъ голландскую прессу за бельгійскую революцію. Ни одинъ человѣкъ, хоть сколько-нибудь исторически образованный, не станетъ отрицать, что разрывъ между Бельгіей и Голландіей былъ болѣе историческимъ фактомъ

нежели ихъ соединеніе.



Пресса въ Голландіи содъйствовала бельгійской революціи. Какая пресса? Реформаторская или реакціонная? Вопрось, которомій мы можемъ поставить также относительно Франціи, и если ораторъ порицаеть клерикальную бельгійскую прессу, которая одновременно была демократической, то онъ порицаеть также клерикальную прессу во Франціи, которая была вмъсть съ тымь монархической. Объ онъ содъйствовали паденію своихъ правительствъ. Во Франціи была революціонной не свободная печать, но цензура.

Но не говоря уже объ этомъ, бельгійская революція впервые выступаетъ, какъ революція духа, какъ революція печати. Если бы это было не такъ, то утвержденіе, что печать сдѣлала бельгійскую революцію, не имѣла бы никакого смысла. Но развѣ за это слѣдуетъ хулить? Должна ли революція тотчась же выступать матеріально? Бить, вмѣсто того, чтобы говорить? Правительство можетъ сдѣлать матеріальной революцію духа; матеріальная революція должна еще сначала оду-

хотворить правительство.

Бельгійская революція есть продукть бельгійскаго духа. Поэтому/и печать, это наиболье свободное поприще, на которомь вь настоящее время проявляется духь народа, имьеть свою долю участія вь бельгійской революціи. Белгійская печать не была бы бельгійской, еслибы она далеко стояла отъреволюціи, но такимъ же точно образомъ бельгійская революція не была бы бельгійской, если бы она не была въ то же время революціей печати. Революція народная есть революція всеобщая; это значить, что каждая сферажизни участвуєть въ революціи на свой ладь; почему же пресса не должна участвовать въ революцій, какъ таковая?

Такимъ образомъ ораторъ ставить въ вину бельгійской печати не то, что она—печать, а то, что она бельгійскаго происхожденія. И здѣсь передъ нами выясняется исходный пункть его историческаго взгляда на свободу печати. Національный характеръ свободной печати,—само собой разумѣется художникъ не пишетъ большой исторической картины водяными красками,—историческая индивидуальность свободной печати, которая дѣлаетъ ее вѣрнымъ отраженіемъ духа народа—вотъ что противно оратору изъ княжескаго сословія. Къ печати раз-



личныхъ народовъ онъ предъявляетъ требованіе сдѣжатьсніне чатью, отвѣчающей его взглядамъ, печатью высокопоставленныхъ круговъ, и вмѣсто того, чтобы предоставить ей вращаться около міровыхъ тѣлъ,—народовъ,—онъ предписываетъ ей заниматься судьбой отдѣльныхъ индивидуумовъ. Въ совершенно обнаженномъ видѣ выступаетъ это требованіе его въ разсужденіи его о швейцарской печати.

Но прежде всего мы позволимь себѣ предложить одинь вопросъ. Почему ораторъ не вспомниль, что въ лицѣ Альбрехта фонъ-Галллера швейцарская печать приблизилась къ Вольтеровскому свободомыслію? Почему ораторъ не помнить, что если Швейцарія и не Эльдорадо, она всетаки дала пріють пророку будущаго княжескаго Эльдорадо, тоже г. фонъ-Галлеру, который своей книгой: "Реставрація государственныхъ наукъ" положиль основаніе "истинной, прекрасной печати", "Берлинскому Политическому Еженедѣльннку"? По плодамъ ея вы должны ее узнать. И какая другая почва на свѣтѣ можетъ потягаться со Швейцарской, взрастившей этотъ сочный плодъ лойяльности?

Ораторъ осуждаеть швейцарскую прессу за то, что она приняла "звъриныя названія" для партій, подълила ихъ на "рогатныхъ" и "копытныхъ", короче говоря, за то, что она говорить по-швейцарски и обращается къ швейцарцамъ, которые живуть въ извъстныхъ патріахальныхъ отношеніяхъ съ быками и коровами. Печать этой страны остается печатью этой страны. Больше объ этомъ ничего нельзя сказать. За то свободная печать выводитъ читателей за предълы ограниченнаго кругозора партикуляризма, что лучше всего доказываеть та же

швейцарская печать.

Что же касается спеціально "звъриныхъ" названій партій, то мы замътимъ, что даже религія почитаетъ животное, какъ символь священнаго. Нашъ ораторъ, конечно, будетъ упрекать индусскую прессу, которая въ религіозномъ в эсторгъ боготворить корову Сабалу и обезьяну Гануманъ. Онъ будетъ упрекать индусскую печать за индусскую религію, точно такъ же, какъ швейцарскую—за швейцарскій характеръ; но существують такія писанія, которыя онъ едва-ли желаль бы подчинить цензуръ: мы разумъемъ священное писаніе—Библію; а развъона не дълить весь человъческій родь на двъ большія партіи:



козлищь и овець? Развѣ самъ Богъ не характеризируетъ своихъ отношеній къ дому Іуды и Израиля слѣдующимъ образомъ: "Я—моль дому Іуды и червякъ дому Израиля"?*). Или, если
обратимся къ земному, что для насъ ближе, то развѣ не существуетъ княжеской литературы, которая обращаетъ всю антропологію въ зоологію: мы разумѣемъ гральдическую литературу?
Эта литература даетъ еще большіе курьезы, нежели партіи
"рогатыхъ" и "копытныхъ". — Итакъ, за что же ораторъ нападаетъ на свободу печати? Не за то ли, что недостатки народа суть недостатки его печати, что она говоритъ безпощаднымъ языкомъ и даетъ неприкрашенный образъ историческаго
народнаго духа? Доказалъ ли онъ, что нѣмецкій народный
духъ не обладаетъ такой великой естественной привилегіей?
Онъ доказалъ, что каждый народъ выражаетъ свой духъ въ
своей печати. Неужели же философски образованный духъ
нѣмцевъ не обладаетъ тѣмъ, что, по собственному утвержденію
оратора, можно найти у объединившихся въ "звѣриныя" партіи швейцарцевъ?

Наконецъ, думаетъ ли ораторъ, что національные недостатки свободной печати не суть также національные недостатки цензоровъ? Разв'є цензоры исключены изъ историческаго единства и не подвержены духу времени? Къ сожал'єнію, такіе случаи бывають, но какой здравомыслящій челов'єкъ не простить охотн'є гр'єховъ націи и времени, проявившихся въ пресс'є, ч'ємъ гр'єховъ противъ націи и духа вре-

мени, проявившихся въ цензуръ?

Выше мы зам'втили, что въ лиц'в отд'вльныхъ ораторовъ противъ свободы печати полемизировали сословія, къ которымъ они принадлежать. Ораторъ княжескаго сословія прежде всего выставиль дипломатическіе доводы. Онъ доказаль вредъ свободы печати съ точки зр'внія княжескихъ уб'вжденій, которыя достаточно ясно выразились въ закон'в о цензур'в. Онъ полагаль, что благородное, истинное развитіе н'вмецкаго духа происходить подъ вліяніемъ препятствій, создаваемыхъ сверху. Онъ, наконецъ, полемизироваль съ народами и съ благороднымъ отвращеніемъ порицаль свободу печати, какъ недели-

^{*)} Іосія гл. 12, ст. 5).



катный, некорректный языкъ народа, направленный него самого.

Ораторъ изъ рыцарскаго сословія, къ которому мы теперь переходимъ, полемизировалъ не съ народами, но съ людьми. Въ лицъ свободы печати онъ воевалъ противъ человъческой Въ лицѣ свободы печати онъ воевалъ противъ человѣческой свободы, въ лицѣ законовъ о печати онъ воевалъ противъ закона. Прежде чѣмъ перейти собственно къ вопросу о свободѣ печати, онъ поднялъ вопросъ о ежедневномъ и безъ сокращеній публикованіи дебатовъ ландтага. Мы послѣдуемъ за нимъ, шагъ за шагомъ. "Первое предложеніе объ опубликованіи преній ландтага принято. Дѣло ландтага сдѣлать изъ этого разрѣшенія мудрое употребленіе". Въ этомъ и заключается сущность вопроса. Провинція думаетъ, что ландтагъ находится въ ея рукахъ, разъ публикованіе происходящихъ въ немъ дебаловъ не предоставлено болѣе произволу его мудрости, а сдѣлалось необходимымъ по закону. Мы могли бы назвать новое разрѣшеніе шагомъ назадъ,еслибы оно было истолковано въ томъ смыслѣ, что опубликованіе дебатовъ вообще предоставлено произволу земскихъ сословій.

Привилетія земскихъ сословій не можеть быть правомъ

Привилегія земскихъ сословій не можетъ быть правомъ провинціи. Гораздо скорѣе права провинціи прекращаются тамъ, гдѣ они становятся привилегіями земскихъ сословій. Такъ, средневѣковыя сословія поглотили въ себя всѣ права страны и обратили ихъ въ привилегіи, шедшія въ разрѣзъ съ инте-

ресами гражданъ.

ресами граждань.

Гражданинъ не желаетъ сознавать права какъ привилетю. Можетъ ли онъ признаватъ правомъ—присоединеніе новаго круга привилегированныхъ лицъ къ прежнимъ?

Права ландтага при такихъ условіяхъ уже не являлись бы правами провинціи, но правами противъ интересовъ провинціи, и самъ ландтагъ сталъ бы считатъ при такомъ мистическомъ толкованіи вопіющую несправедливость противъ провинціи своимъ величайшимъ правомъ.

Насколько сильно ораторъ изъ рыцарскаго сословія подчинился этимъ средневъковымъ воззрѣніямъ ландтага, съ какой



несдержанностью онъ отстаиваль привилегіи ландтага проттивъ права страны, покажеть продолженіе его рѣчи. "Широкое использованіе такого разрѣшенія (обнародованія

дебатовъ) можеть быть результатомъ внутренняго убъжденія, но оно не можеть являться слъдствіемъ внъшнихъ вліяній".
Поразительный обороть! Вліяніе провинціи на ея ландтагь

обозначается какъ внъшнее вліяніе, и ему противопоставляется убъжденіе земскихъ чиновъ, какъ тонкій, деликатный внутренній аппаратъ, конструкція котораго, въ высшей степени чувствительная, взываеть къ провиніи: "Nolme tangere" (не тронь меня!). Эта элегическая фраза о "внутреннемъ убъжденіи" пріобрътаеть тъмъ большее значеніе рядомъ съ суровой, внъшней, ничъмъ не оправдываемой бурей "общественнаго убъжденія", что предложеніе, внесенное въ лантатъ какъ разъ стремится къ тому, чтобы внутреннія убъжденія земскихъ чиновъ сдълать внъшними и явными. Во всякомъ случат, мы и здъсь замъчаемъ непослъдовательность. Тамъ, гдъ ораторъ себя чувствуетъ хорошо, въ церковныхъ вопросахъ, онъ ссылается на провинцію.

"Мы допустимъ публикованіе" продолжаетъ ораторъ: "тамъ, гдѣ мы его найдемъ цѣлесообразнымъ, и ограничимъ это право тамъ, гдѣ его расширеніе покажется намъ безцѣльнымъ

или даже просто вреднымъ".

Мы будемъ дълать то, что хотимъ. Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. Это ръчь властелина, которая во всякомъ случав въ устахъ современнаго сословнаго представи-

теля имѣетъ трогательный привкусъ. Кто это "мы"? Земскія сословія. Пренія публикуются для провинціи, а не для земских чиновъ; но ораторъ поучаеть насъ дучшему. Публикованіе трудовъ ландтага также есть привилегія земскихъ сословій, которыя имъютъ право, когда это имъ покажется удобнымъ, въ отвъть на свою мудрость вызвать многоголосое эхо посредствомъ печатнаго станка.

Ораторъ признаетъ только провинцію земскихъ сословій, а не земскія сословія провинціи. Земскія сословія обладають провинціей, на которую распространяется привилегія ихъ дъятельности, но провинція не имъеть земскихъ сословій, черезъ ко-



торыя она могла бы сама дъйствовать; словомъ, провинція имъеть право, при соблюденіи закономъ предписанныхъ условій, сотворить себъ этихъ боговъ, но тотчасъ же послъ акта творенія она, какъ идолопоклонникъ, должна забыть, что боги эти—дъло ея собственныхъ рукъ.

Между прочимь не слѣдуетъ забывать, почему монархія безъ ландтага не больше стоитъ, чѣмъ монархія съ ландтагомъ, ибо, если ландтагъ не является представителемъ воли провинціи, то мы питаемъ больше довѣрія къ государственной мудрости правительства, чѣмъ къ приватной мудрости представителей отъ сословій.

Здѣсь передъ нами открывается удивительное, обязанное, быть можеть, самому существу ландтаговъ, зрѣлище, какъ провинція оказывается вынужденной вступать въ борьбу не черезъ своихъ представителей, но противът нихъ самихъ. По мнѣнію оратора, ландтагъ не считаетъ общихъ правъ провинціи своими единственными привилегіями, ибо въ такомъ случаѣ ежедневное публикованіе безъ сокращеній трудовъ ландтага было бы новымъ правомъ ландтага потому, что оно представляетъ собою новое право провинціи; но по его миѣнію страна скорѣе должна считать своими единственными правами привилегіи земскихъ сословій; почему также не привилегіи какого-нибудь класса чиновниковъ и знати или духовенства!

Да, нашъ ораторъ открыто заявляеть, что привилегіи земскихъ сословій уменьшаются въ той мѣрѣ, въ какой увеличи-

ваются права провинціи.

"Насколько ему кажется желательнымь, чтобы запась, вы собраніи, им'єла м'єсто свобода преній и чтобы не приходилось боязливо взв'єшивать слова, настолько же му приклаждуєтся необходимымь въ ціляхь сохраненія этой свободы слова и этой откровенности річи, чтобы пренія ихто в времени подвергались обсужденію только со сторонії чтіх для кого он'є предназначены".

Именно потому, заканчиваетъ ораторъ, что въ нашемъ собраніи желательна свобода преній,—а какія только сободы не желательны, разъ рѣчь идетъ о насъ,—именно поэтому свобода преній въ провинціи въ высшей степени не желательна. Такъ какъ желательно чтобы мы разговаривали откровенно, то





тыть болье желательно держать провинцію подъ покровомъ тайны. Наши рычи не предназначены для провинціи. Нужно признать тоть такть, съ которымъ ораторъ вывель, что ландтагь, благодаря опубликованію безъ сокращенія своихъ трудовь, сталь бы изъ привилегіи земскихъ сословій — правомъ провинціи, что онъ, сдълавшись непосредственнымъ объектомъ общественнаго мнвнія, долженъ быль бы рвшиться стать объективированнымъ общественнымъ мнѣніемъ, что при свъть общаго самосознанія онъ должень быль бы пожертво-

вать особенностями своего существа ради общаго интереса. Но если ораторъ изъ рыцарскаго сословія вмъсто общихъ правъ отстаиваеть личныя привилегіи, индивидуальныя свободы, идущія въ разръзь съ интересами народа и правительства и такимъ путемъ неоспоримо выражаетъ духъ исключительности, свойственный его сословію, то, напротивъ, духъ, господствующій въ провинціи, онъ толкуетъ самымъ превратнымъ образомъ, когда/ онъ общія ея требованія истолковываетъ какъ личныя ея прихоти.

Такъ, ораторъ рисуетъ въ яркихъ краскахъ жадное любо-пытство провинціи къ "нашимъ ръчамъ" (т. е. къ ръчамъ

земскихъ чиновъ).

Мы увъряемъ его, что провинція никоимъ образомъ не интересуется ръчами земскихъ чиновъ, какъ отдъльныхъ лицъ, а между тъмъ только "такія" ръчи они, земскіе чины, могутъ по праву называть "своими". Провинція гораздо больше замитересована въ томъ, чтобы ръчи земскихъ чиновъ обратились

въ общедоступный внятный голосъ страны.

Рѣчь идеть о томъ, должна ли провинція сознательно относиться къ своему представительству или нътъ! Должна ли къ тайнъ правительства прибавиться еще новая тайна представительства? Народъ представленъ также въ своемъ правительствъ. Новое представительство того же народа черезъ земскихъ чиновъ было бы поэтому совершенно безсмысленнымъ, еслибы его специфическій характеръ не заключался какъ разъ въ томъ, что здъсь работаютъ не для провинціи, а что здѣсь работаеть она *сама*; что провинція въ ландтагѣ не представлена кѣмъ-то другимъ, а сама себя представляеть. Представительство, которое не связано съ сознаніемъ



представляемыхъ имъ людей, вовсе не есть представительство.

Чего не знаешь, о томъ не вспоминаешь. Безсмысленное противорѣчіе современнаго нашего государственнаго строя заключается въ томъ, что функція государства, которая главнъйшимъ образомъ и выражаетъ собой самодѣятельность отдъльныхъ провинцій, изъята даже отъ формальнаго воздъйствія на него со стороны народа, благодаря тому, что все дълается подъ прикрытіемъ тайны; беземыслица въ томъ, что моя собственная самодъятельность должна выражаться въ неизвъстной мнъ дъятельности другого лица.

Публикованіе трудовъ ландтага, по усмотрѣнію самого ландтага, хуже чѣмъ отсутствіе всякой публикаціи, ибо если ландтагь даетъ мнѣ не то, что онъ есть, а только то, чѣмъ онъ желаль бы быть въ моихъ глазахъ, то я его приму за то, что онъ мнѣ даеть, за видимость, а это худо, когда видимость пріобрѣтаетъ характеръ чего-то законно-существу-

ющаго.

ющаго.
 Развѣ ежедневное публикованіе отчетовъ безъ сокращеній путемъ печати можно по праву назвать несокращеннымъ и публичнымъ? Развѣ это не сокращеніе—подставлять вмѣсто словъ—буквы, вмѣсто лицъ—схемы, вмѣсто дѣйствительныхъ актовъ—бумажные? И развѣ публичность заключается только въ томъ, что дъйствительные факты докладываются публикъ, а не въ томъ, что они докладываются дъйсшвительной публикѣ, т. е. не вооброжаемой, читающей, а живой современной публикѣ? публикѣ?

Нѣтъ большаго противорѣчія, чѣмъ то, что величайшіе общественные акты провинціи остаются въ тайнѣ, что въ частныхъ процессахъ двери суда открыты для провинціи, а въ ея собственномъ процессѣ она должна стоять передъ закры-

тыми дверями.

Публикованіе безъ сокращеній трудовъ ландтага должно поэтому въ его истинномъ и логическомъ смыслѣ заключаться ни въ чемъ другомъ, какъ въ полной публичности засѣланій дандтага.

А нашъ ораторъ, напротивъ, хочетъ разсматривать его

какъ своего рода курительную комнату.



"Вслѣдствіе долголѣтняго знакомства большинство изъ насъ находится между собою въ хорошихъ личныхъ отношеніяхъ несмотря на различія во взглядахъ, и это наслѣдуютъ отъ насъ

всѣ вновь вступающіе".

"Именно поэтому мы больше всего въ состояніи оцѣнивать достоинство нашихъ рѣчей, и это дѣлалось бы тѣмъ откровеннѣе, чѣмъ меньше мы подвергались бы дѣйствію постороннихъ вліяній, которыя только тогда бываютъ нужны, когда выступаютъ въ видѣ доброжелательныхъ совѣтовъ, а не стремятся въ видѣ рѣшительныхъ сужденій, похвалы или порицанія, подѣйствовать на насъ своей публичностью".

Господинъ ораторъ говоритъ объ уютности.

Мы собрались здъсь такъ по семейному, болтаемъ, не стъсняясь, мы такъ точно взвъшиваемъ цънность нашихъ собственныхъ ръчей; должны ли мы измънять это столь патріархальное, столь удобное, столь важное положеніе благодаря сужденіямъ провинціи, которая, быть можеть, придаеть нашимъ

словамъ гораздо меньше цѣны?

Господи, помилуй! Ландтагь не переносить дневнаго свѣта. Въ потемкахъ частной жизни намъ пріятнѣе. Если цѣлая провинція настолько довѣрчива, что ввѣряеть свои права отдѣльнымъ индивидумамъ, то, само собой разумѣется, эти отдѣльные индивидумы настолько снисходительны, что принимаютъ довѣріе провинціи, но было бы настоящимъ сумасбродствомъ желать, чтобы они платили провинціи той же монетой и, полные довѣрія, отдали бы себя, свои дѣла, свою личность на судъ этой самой провинціи, которая только что показала имъ оримѣръ послѣдовательности. Во всякомъ случаѣ важнѣе, чтобы личность земскихъ чиновъ не подвергалась опасности со стороны провинціи, чѣмъ чтобы интересы провинціи не подвергались опасности со стороны земскихъ чиновъ.

Мы хотимъ быть справедливы, милостивы. Мы (а мы вѣдь своего рода правительство), мы хотя и не допускаемъ никакихъ рѣшительныхъ сужденій, ни похвалы, ни порицанія, хотя мы и не потерпимъ никакого вліянія общественнаго мнѣнія на нашу священную особу, однако мы готовы выслушать доброжелательный совѣтъ, не въ томъ отвлеченномъ смыслѣ, чтобы онъ имѣлъ въ ввиду благо страны, но въ томъ полномъ зна-



ченія смысль, чтобы въ немь заключалась страстная немы немы немы выражапость къ особамь земскихъ чиновъ, чтобы въ немь выражалось особое мивніе объ ихъ превосходныхъ качествахъ.

Правда, можно было бы подумать, что если общественное мнѣніе такъ вредно для нашихъ добрыхъ отношеній, то наши добрыя отношенія вредны для общественнаго мнѣнія. Но при этой софистикъ забывають, что ландтагъ есть собраніе земскихъ чиновъ, а не просто провинціальное собраніе. А кто сможеть устоять противъ самаго рѣшительнаго изъ аргументовъ?

Если страна въ силу основнаго закона назначаетъ земскихъ чиновъ, чтобы представить свой всеобщій разумъ, то она тѣмъ самымъ совершенно отказалась отъ собственнаго сужденія и разумѣнія, которыя теперь исключительно воплощены въ избранникахъ. Какъ разсказывается въ легендахъ, что великіе изобрѣтатели умерщвляются или,—что совсѣмъ не легенда,—заживо хоронятся въ крѣпостяхъ, какъ только они сообщають свой секретъ повелителю, — такъ политическій разумъ страны поражаеть себя своимъ собственнымъ мечемъ всякій разъ, когда страна изобрѣтаетъ институтъ земскихъ чиновъ, вирочемъ для того только, чтобы при слѣдующихъ выборахъ вновь возродиться, какъ фениксъ.

Послѣ наивныхъ и докучливыхъ описаній тѣхъ опасностей, которыми грозять публикаціи трудовъ ландтага особамъ земскихъ чиновъ извнѣ, т. е. со стороны провинціи, ораторъ заключаетъ свою діатрибу тѣмъ лейтъ-мотивомъ, за которымъ мы

слъдили до сихъ поръ.

"Парламентсая свобода (какъ это хорошо звучить!) находится еще въ первомъ періодъ своего развитія. При заботливомъ уходъ она должна получить ту внутреннюю силу и самостоятельность, которыя ей необходимы для того, чтобы она безъ вреда для себя была въ состояніи переносить всъ внъшнія бури"! Опять это роковое противоположеніе дандтага, какъ чего-то внутренняго и провинціи, какъ чего-то внъшняго!

Мы, конечно, давно уже держимся того мнѣнія, что парламентская свобода находится еще въ началѣ своего начала, и рѣчь, которую мы сейчасъ разсматриваемъ, убѣдила насъ



лишній разъ, что въ политическихъ вопросахъ нами еще не пройдены самые первые уроки. Но отсюда мы никоимъ образомъ не выводимъ,—и эта рѣчь снова подтвердила наше мнѣніе,—что нужно еще продолжить срокъ, чтобы ландтагъ окостенѣлъ самостоятельно въ формѣ, враждебной интересамъ провинціи. Можетъ быть, ораторъ разумѣетъ подъ парламентской свободой свободу старыхъ французскихъ парламентовъ? По его собственному признанію между земскими чинами господствуетъ долголѣтнее знакомство, ихъ духъ, какъ эпидемическое наслѣдіе, переходитъ къ "новымъ людямъ" и все таки время для гласности еще не наступило? Двѣнадцатый ландтагъ можетъ датъ тотъ же отвѣтъ, что и шестой, только съболѣе рѣшительной ссылкой на то, что онъ слишкомъ самостоятеленъ, чтобы лишить себя важной привилегіи вести свои дѣла подъ покровомъ тайны.

Безь сомнѣнія, развитіе парламентской свободы въ старофранцузскомь смыслѣ, самостоятельность, враждебная интересамь общественнаго мнѣнія, кастовый духъ достигается путемь изолированія народа въ самыхъ основныхъ вопросахъ, но какъ разь отъ такого развитія слѣдуетъ, не медля ни минуты и самымъ энергичнымъ образомъ предостеречь. Истинно политическое собраніе преуспѣваетъ только подъ великимъ покровительствомъ гласности подобно тому, какъ все живое растетъ только на открытомъ воздухѣ. Только "экзотическія" растенія, пересаженныя въ чужой климатъ, нуждаются въ заботливомъ, тепличномъ уходѣ. Не смотритъ ли ораторъ на дандтагъ, какъ на "экзотическое" растеніе въ свободномъ, веселомъ климатѣ Рейнской провинціи?

* *

Когда нашъ ораторъ изъ рыцарскаго сословія съ почти комической серьезностью, съ почти меланхолическимъ достоинствомъ и почти религіознымъ павосомъ развивалъ свою предпосылку о высокой мудрости земскихъ чиновъ, ихъ средневѣковой свободѣ и независимости, то человѣкъ несвѣдущій былъ
бы удивленъ, когда увидѣлъ бы, какъ въ вопросѣ о свободѣ
печати нашъ ораторъ спускается съ высоть мудрости ландтага



въ глубины невѣжества человѣческаго рода и отъ только что рекомендованной независимости и свободы привилегированныхъ сословій до принципіальнаго рабства и зависимости человѣческой природы. Мы не удивляемся этой встрѣчѣ съ однимъ изъ видовъ многочисленныхъ въ настоящее время представителей христіанско-рыцарскаго, современно-феодальнаго, короче-романтическаго принципа.

Такъ такъ эти господа разсматривають свободу не какъ естественный даръ всеобщему солнцу разума, но считають ее сверхестественнымъ даромъ особенно милостиваго сочетанія звъздъ; такъ какъ они разсматриваютъ свободу, какъ индивидуальное свойство извъстныхъ лицъ и сословій, то они видуальное своиство извъстныхъ лицъ и сослови, то они вполнъ послъдовательно, по "логически упорядоченной системъ", вынуждены считать всеобщій разумъ и всеобщую свободу—дурнымъ образомъ мыслей и пустой фантазіей. Чтобы спасти исключительную свободу привилегій, они должны воздвигнуть гоненіе на общую свободу челов'вческой природы. Но такъ какъ злое отродье XIX въка и само зараженное этимъ въкомъ сознаніе современныхъ рыцарей не можеть постигнуть того, что непостижимо; такъ какъ совершенно не понятно, какимъ образомъ внутреннія, существенныя, общія опредѣленія могутъ быть присвоены толіко опредѣленному разряду, людей при помощи внѣшнихъ, случайныхъ и забавныхъ пріемовъ, въ тожевремя не будучи связаны съ самимъ существомъ человѣка и вообще съ разумомъ, словомъ со всѣмъ тѣмъ, что присуще всьмъ индивидуумамъ, —то они, эти господа, по необходимости обращаются къ чудесному и таинственному. Такъ какъ, далъе дъйствительное положение этихъ го подъ въ современномъ государствъ никоимъ образомъ не соотвътствуетъ тому представленію, которое имъется у нихъ о своемъ положеніи, такъ какъ они живутъ въ мірѣ, лежащемъ по ту сторону дѣйствительности, такъ какъ, кромѣ того, самовнушеніе составляетъ ихъ разумъ и сердце, то они, неудовлетворенные практикой жизни, хватаются за теорію, но за теорію потустороннюю за религію, которая однако въ ихъ рукахъ получаеть полемическую горечь, проникнутую политическими тенденціями; и болье или менье сознательно покровъ святости скрываеть весьма свътскія, но вмъсть съ тьмъ весьма фантастическія желанія,



Такъ, нашъ ораторъ, противопоставляетъ практическимъ требовавіямъ — религіозно-мистическую теорію воображенія, дъйствительнымъ теоріямъ—мало-умную, хитро-дъловую эмпирическую мудрость, почерпнутую изъ поверхностныхъ наб юденій, человъческому пониманію—сверхчеловъческую святость и дъйствительной святости идей—произволь и невъріе низшей точки зрънія. Въ болъе важной, болъе небрежной и поэтому трезвой ръчи оратора изъ княжескаго сословія теперь обнаруживается еще въ большей степени патетическая напыщенность и безмърно фантастическое умиленіе, которыя раньше исхо-

дили изъ одного паеоса привилегіи.

"Чамь меньше можно оспаривать, что печать въ настоящее время есть политическая сила, тамъ болае оппибочнымъ представляется ему весьма распространенный, конечно, взглядь, что изъ борьбы между хорошей и дурной печатью можетъ родиться истина и свътъ, и отъ этого можно ожидать болъе широкаго и болъе дъйствительнаго ихъ распространенія. Человъкъ одинъ и въ массъ-всегда все тотъ же. По своей природъ онъ несовершененъ и незрълъ, и нуждается въ воспитаніи до тіхть поръ, пока продолжается его развитіе, которое прекращается только со смертью. Но искусство воспитанія не заключается въ наказаніяхъ за недозволенныя дъйствія, а въ поощреніи добрыхъ дёль и въ томъ, чтобы держать его вдали оть дурныхъ вліяній. Съ несовершенствомъ челов'єка, однако, неразрывно связано то, что заманчивыя пѣсни зла имѣютъ могущественное вліяніе на массы, и, если это обстоятельство является не абсолютнымь, то оно во всякомь случав оказывается весьма серьезнымь препятствіемь для воздвиствія на эти массы простого и трезваго голоса правды. Въ то время, какъ дурная печать обращается только къ человъческимъ страстямь, въ то время, какъ она не пренебрегаеть накакими средствами, когда дъло идеть о томъ, чтобы возбужденіемъ страстей достигнуть своей цыли, которой въ даннемъ случат является возможно широкое распространеніе дурного вліянія и вреднаго образа мыслей, въ то время, какъ на ея сторонѣ всѣ преимущества того самаго опаснаго изъ всѣхъ наступательнаго образа дѣйствій, для котораго объективно нѣтъ никакихъ законныхъ границъ, а субъективно никакихъ нравственныхъ законовъ, и



даже чести, въ это же самое время хорошая печать обречена на оборонительное положение. Ея дъйствия могли-бы въ лучшемъ случат заключаться только въ томъ, чтобы предостерегать, удерживать, подкръплять, но она не была бы въ состояни похвастать ни одной значительной побъдой въ сферъ нешительскаго влияния. За счастье надо будеть почитать, если этому еще не помъщають какия-либо внъшния препятствия".

Мы цъликомь привели это мъсто, чтобы не ослабить его

натетического впечатлънія на читателя.

Ораторъ поставиль себя à la hauteur des principes (на высоту принциповъ). Чтобы бороться противъ свободы печати, надо защищать взглядъ о въчной незрълости человъческой природы. Это на самомъ дълъ значить утверждать, что если въ существъ своемъ человъкъ не свободенъ, то свобода противоръчить его существу. Злыо скептики могуть осмълиться не повърить оратору на слово.

Если несовершенство человъческаго рода является мистическимъ основаніемъ противъ свободы печати, то цензура во всякомъ случать является въ высшей степени понятнымъ сред-

ствомъ противъ человъческой зрълости.

Все то, что развивается, —несовершенно. Развите прекращается только со смертью. Если быть вполнѣ послѣдовательнымъ, то людей слѣдуеть убивать, чтобы избавить ихъ отъ этого состоянія вѣчнаго несовершенства. Такой выводъ, по крайней мѣрѣ, дѣлаетъ ораторъ, чтобы убить на смерть свободу печати. Настоящее воспитаніе для него заключается въ томъ, чтобы всю жизнь держать человѣка въ колыбели завернутымъ въ пеленки, ибо какъ только человѣкъ научается ходить, онъ научается также падать, и только падая, онъ научается ходить. Но если мы всѣ будемъ въ пеленкахъ, то кто же насъ будетъ пеленать? Если мы всѣ будемъ въ колыбели, то кто насъ будетъ сторожить?

Челов'ять по природ'я своей несовершенень въ отд'яльности и въ масс'я. De principiis non est disputandum (о принципахъ не спорять). Допустимь! Но что же отсюда сл'ядуеть? Разсужденія нашего оратора несовершенны, правительства несовершенны, ландтаги несовершенны, свобода



печати несовершенна, каждая сфера человъческаго существа несовершенна. Поэтому если хоть одна изъ этихъ сферъ не должна существовать, благодаря этому несовершенству, то ни одна изъ нихъ не имъетъ права на существованіе; тогда и человъкъ вообще не имъетъ права на существованіе.

Допустивъ принципіально несовершенство человѣка, мы уже напередъ знаемъ обо всѣхъ человѣческихъ учрежденіяхъ, что они не совершенны; больше объ этомъ ничего нельзя сказать, это не говоритъ ни за, ни противъ, это—не специ-

фическая черта, не отличительный прзнакъ.

Почему же какъ разъ свобода печати должна быть совершенной среди всъхъ этихъ несовершенствъ? Почему несовершенный земскій чинъ требуеть совершенной печати?

Несовершенное нуждается въ воспитаніи. Но развѣ воспитаніе не человѣческое дѣло, а слѣдовательно несовершенное?

Не нуждается-ли само воспитание въ воспитания?

Если, далбе, все человъческое по существу своему несовершенно, то развѣ мы должны все перемѣшать въ кучу, все ставить одинаково высоко, добро и зло, истину и ложь? Если быть истинно последовательнымъ, то, подобно тому, какъ, разсматривая картину, я оставляю тотъ уголъ зренія, съ котораго картина представляется мнъ лишь въ видъ красочныхъ пятенъ, а не въ видъ рисунка, изображеннаго красками, съ котораго картина представляется мнъ въ видъ разрозненныхъ линій, а не цільнаго рисунка, я должень оставить ту точку зрънія, съ которой мірь и человъческія отношенія представляются только во внёшнемъ свётё; я долженъ признать эту точку зрънія негодной для оцънки вещей, ибо какъ можеть служить для сужденія, для различенія такая точка зрізнія, которая для цізлой вселенной устанавливаеть только ту плоскую мысль, что все въ мірѣ по существу своему несовершенно?Сама точка зрънія есть нъчто самое несовершенное изъ всёхъ несовершенствъ, которыя только существуютъ вокругь нея. Мы должны поэтому полагать мъру существа внутренней идеи въ существовании вещи и тъмъ менъе мы должны давать себя вводить въ заблужденіе ссылками на односторонній и тривіальный опыть, что подобный опыть вообще влечеть за собою упразднение всякаго истиннаго опыта,



всякаго независимаго сужденія, устанавливаеть пошлыя истины, въ родѣ того, что всѣ коровы черны. Если исходить изъ точки зрѣнія этой идеи, то само собой понятно, что свобода печати имѣеть совсѣмъ другое оправданіе, чѣмъ цензура, такъ какъ свобода печати сама является выраженіемъ идей, проявленіемъ свободы, словомъ, вполнѣ положительнымъ благомъ въ то время, какъ цензура, являясь олицетвореніемъ рабства, полемикой формальнаго міровоззрѣнія противъ міровоззрѣнія реальнаго, носить отрицательный характеръ.

Нѣтъ! Нѣтъ! Нѣтъ! Прерываетъ насъ ораторъ. Я порицаю не форму, а существо. Свобода—вотъ что нечестиво въ свободъ печати. Свобода даетъ возможность проявляться злу.

Поэтому свобода-зло.

Злая свобода!

Er hat sie erstochen im dunklen Hain,
Und den Leib versenket in tiefen Rhein!
(Въ темной дубравъ ее закололъ онъ,
И въ Рейнъ глубокомъ ее схоронилъ)!
Diesmal muss ich zu dir reden,
Herr nnd Meister, hör mich ruhig!
(На этотъ разъ я долженъ говорить съ тобой,
Учитель, господинъ мой!

Развѣ въ странѣ цензуры не существуеть свободы печати? Печать вообще есть осуществленіе человѣческой свободы. Поэтому, тамъ, гдѣ существуеть печать, тамъ суще-

ствуеть и свобода печати.

Хотя въ странъ цензуры государство и не имъетъ свободы печати, но одинъ членъ государства пользуется ею, а именно—правительство. Не говоря уже о томъ, что оффиціальные правительственные акты пользуются полной свободой печати, развъ цензоръ не осуществляетъ ежедневно неограниченной свободы печати, если не прямо, то косвенно? Писатели состоятъ при немъ въ качествъ секретарей. Тамъ, гдъ секретарь не выразилъ мнънія своего принципала, тамъ послъдній зачеркиваетъ работу. Цензура создаетъ такимъ образомъ прессу.

Красныя чернила цензора для печати—то же, что прямыя линіи—куасъ—у китайцевъ для мысли. Это цензорское "ку-



асъ" является категоріей литературы, а какъ извъстно, кате-

горіи являются типичными душами содержанія.

Свобода настолько присуща человѣку, что даже ея противники осуществляють ее, оспаривая ее существо; они хотять себѣ присвоить, какъ драгоцѣннѣйшее украшеніе, то, чего они не признають украшеніемь человѣческой природы.

Ни одинъ человъкъ не борется противъ свободы вообще, въхудшемъ случат, онъ борется только противъ свободы другихъ. Поэтому каждый видъ свободы существовалъ всегда, но въодномъ случат онъ существовалъ какъ исключительная при-

вилегія, а въ другомъ, какъ общее право.

Вопросъ только теперь получиль логическій смысль. Рѣчь идеть не о томъ, делжна-ли существовать свобода печати, ибо она всегда существуеть, а только о томь, является-ли свобода печати привилегіей отдъльныхъ лицъ, или она есть привилегія человъческаго духа? Вопросъ въ томъ, должно-ли для одной стороны почитаться несправедливымъ то, что для другой справедливо? Вопросъ въ томъ, имъеть-ли "свобода духа"

больше права, нежели "свободы противъ духа"?

Но если "свободная печать" и "свобода печати" какъ осуществленіе "всеобщей свободы" являются предметомъ порицанія, то въ такомъ случав цензура и подцензурная печать еще болве достойны порицанія, какъ осуществленіе исключительной свободы, ибо какимъ образомъ можетъ быть хорошъ видъ, когда весь родъ не годится? Если-бы ораторъ быль последователень, то онъ долженъ быльбы порицать не свободную печать, но печать вообще. По его мивнію она стала бы хорошей, если-бы не была продуктомъ свободы, в'єрн'єе говоря, если-бъ она вовсе не была продуктомъ челов'є ческаго творчества. Поэтому для пользованія печатью были-бы предназначены или зв'єри, или боги.

Или мы должны—ораторъ не осмѣлился высказать это предположить, какъ у правительства, такъ и у него самаго

наличность божественнаго вдохновенья?

Когда частное лицо хвастаеть божественным вдохновеньемь, то въ нашемь обществъ есть только одинь человъкь, который по обязанности своей службы должень ему возражать, это—психіатрь.



Въ свою очередь англійская исторія весьма убъдительно доказала, какъ утвержденіе о божественномъ вдохновеніи сверху вызываетъ противоположное утвержденіе о божественномъ вдохновеніи снизу, и Карлъ I взошелъ на эшафотъ вслъдствіе божественнаго вдохновенія снизу.

Хотя нашь ораторъ изъ рыцарскаго сословія склоняется, какъ мы услышимъ позже, къ тому, что цензура и свобода печати, подцензурная и свободная печать—объ никуда не годятся, всетаки онъ не доходить до того, чтобы считать печать вообще негодной.

Напротивъ! Онъ всю печать дѣлить на "хорошую" и

"дурную".

О дурной печати намъ разсказывають такую невѣроятную вещь, будто ея цѣлью является эло и возможно широкое распространеніе этого зла. Но ораторъ слишкомъ полагается на наше легковѣріе, если онъ надѣется, что мы на слово повѣримъ въ существованіе такой дурной профессіи. Мы напомнимъ емут олько ту аксіому, что все человѣческое—несовершенно. Не будетъ-ли, поэтому, дурная печать несовершенно дурной, т. е. хорошей, и, обратно, хорошая печать

несовершенно хорошей, слъдовательно дурной?

Но ораторъ указываетъ намъ оборотную сторону (медали). Онъ утверждаетъ, что дурная печатъ лучше хорошей потому, что она постоянно находится въ наступательномъ положеніи, хорошая же—въ оборонительномъ. Но онъ, вѣдь, самъ сказалъ намъ, что развитіе человѣка прекращается только съ его смертью. Конечно, онъ этимъ сказалъ немного, онъ не сказалъ этимъ ничего другого, кромѣ того, что жизнь кончается со смертью. Все таки, если человѣческая жизнь есть развитіе, а хорошая печать всегда находится въ оборонительномъ положеніи, дѣйствуетъ только "предостерегающимъ, удерживающимъ, подкрѣпляющимъ" образомъ, то развѣ она этимъ не препятствуетъ постоянно развитію, т. е. жизни? Поэтому, или хорошая "оборонительная" печать дурна, или развитіе есть зло, почему и прежнее утвержденіе оратора, что цѣлью "дурной печати является возможно широкое распространеніе дурныхъ нравовъ и дурного образа мыслей", теряеть свою мистическую невѣроятность въ этомъ раціональномъ толкованіи:



возможно широкое распространеніе дурныхъ нравовъ и дурного образа мыслей составляеть зло дурной печати.

Соотношеніе между хорошей и дурной печатью становится еще бол'ве удивительнымъ, когда ораторъ ув'вряетъ насъ, что хорошая печать безсильна, а дурная всесильна, ибо первая остается безъ всякаго вліянія на народь, а вліяніе посл'ядней неотразимо. Хорошая печать и безсильная печать—это для оратора одно и тоже. Хочетъ ли онъ этимъ сказать, что добро безсильно или что безсиліе есть добро?

Онъ противопоставдяеть заманчивой пѣснѣ дурной печати трезвый голосъ хорошей. Конечно, трезвымъ голосомъ можно пѣть самымъ дучшимъ и самимъ дѣйствительнымъ образомъ. Ораторъ, повидимому, хорошо знакомъ только съ чувственнымъ жаромъ страсти, а не съ горячей страстью истины, не съ побѣдоноснымъ энтузіазмомъ разума, не съ непреодоли-

мымъ паоосомъ нравственной мощи.

Подъ нравами дурной печати онъ подразумѣваетъ "гордость, которая не признаетъ никакого авторитета за церковью и государствомъ", "зависимость", которая проповѣдуетъ уничтоженіе аристократіи и еще нѣчто, о чемъ мы будемъ говорить позже. На одинъ моментъ мы позволимъ себѣ остановиться на вопросѣ, какимъ образомъ ораторъ признаетъ добромъ (какую-либо) отдѣльную вещь? Если общія силы жизни дурны, а мы слышали, что зло всесильно, что оно вліяетъ на массы, то кто и что имѣетъ право считаться хорошимъ? Это самое надменное утвержденіе, которая провозглашаетъ моя личность хороша, нѣсколько существъ, которое признаютъ мою личность, хороши, а злая, дурная печать не хочетъ этого признавать. Дурная печать!

Если въ началѣ ораторъ превратилъ свои нападки на свободу печати въ нападки на свободу вообще, то теперь онъ ихъ обратилъ въ нападки на добро. Его боязнь передъ зломъ преобразилась въ боязнь передъ добромъ. Онъ обосновалъ цензуру на признаніи зла и опшбочной оцѣнкѣ добра, а развѣ я не призираю человѣка, если я говорю ему напередъ, что противникъ одолѣетъ его въ борьбѣ, что, хотя онъ весьма трезвый товарищъ и прекрасный сосѣдъ, но очень плохой герой, что, хотя оружіе его священно, но онъ не умѣетъ его носить,



что хотя мы оба, я и онъ, вполнѣ убѣждены въ его совершенствѣ, однако, свѣтъ никогда не раздѣлитъ съ нами этого убѣжденія, ибо онъ, хотя хорошаго мнѣнія о тебѣ, но весьма плохого мнѣнія о твоей энергіи?

Хотя тв различія, которыя ораторь устанавливаеть между хорошей и дурной печатью, дёлають совершенно излишнимь всякій споръ, потому что онъ утопають въ собственныхъ противорѣчіяхъ, мы все-таки не можемъ оставить безъ вниманія того обстоятельства, что ораторъ поставиль совершенно неправильно весь вопросъ, и въ основание своихъ разсужденій положиль то, что ему еще надлежало доказать. Если хотять говорить о двухъ родахъ печати, то эти различія должны исходить изь самаго существа печати, а не изъ соображеній лежащихъ внъ ея. Одно изъ двухъ, подцензурная печать или свободная печать должна быть хорошей или дурной. Но въдь въ этомъ и заключается споръ, хороша ли или дурна подцензурная печать или свободная печать, т. е. что отвъчаеть существу печати, свободное ея существование или не свободное? Сопоставлять дурную печать со свободной печатью, это значить утверждать, что свободная печать дурна, а подцензурная — хороша, а это именно еще нужно доказать.

Низкій образь мысли, личныя нападки, клевета — все это одинаково свойственно и подцензурной и свободной печати. Такимъ образомъ это—не родовой ея признакъ, что она даетъ произведенія того или другого характера; и въ болотъ растуть цвъты. Ръчь идеть о самомъ существъ, о внутреннемъ характеръ, который отличаеть подцензурную печать оть сво-

болной.

Дурная свободная печать, не отвъчаеть характеру ея существа. Подцензурная печать со своимъ лицемъріемъ, безличностью, своимъ языкомъ евнуховъ и собачьимъ виляньемъ осуществляетъ только внутреннія условія своей сущности.

Подцензурная печать остается дурной даже когда она даеть хорошія произведенія, ибо эти произведенія лишь постольку хороши, поскольку они дають представленіе о свободной печати при печати подцензурной и поскольку они по харакаеру своиму не похожи на произведенія подцензурной печати. Свободная печать остается хорошей даже тогда, когда



она даеть дурныя произведенія, ибо эти произведенія являются лишь отступленіемь отъ природы свободной печати. Скопець остается плохимь мужчиной, даже когда у него хорошій голось. Природа остается хорошей, даже если она создаеть урода.

Существо свободной печати заключается въ характерномъ, разумномъ, нравственномъ существъ самой свободы. Характеръ подпензурной печати заключается въ полномъ безличіи и рабольній, это пивилизованное чудовище, это — раздушенный

уродъ.

Нужны ли еще доказательства, что свобода печати отв'ячаеть самому существу печати, а цензура — ему противор'ячаеть самому существу печати, а цензура — ему противор'ячаеть? Разв'я не ясно само собой, что вн'яшнія ограниченія духовной жизни не составляють ея внутренняго содержанія, что они отрицають эту жизнь, а не поддерживають ее?
Чтобы д'я биствительно оправдать существованіе цензуры, оратору сл'я довало бы доказать, что цензура относится къ самому
существу свободы печати; вм'я сто этого, онь доказываеть, что
ввобода не относится къ существу челов'я ка. Онь хулить весь
родь, чтобы сохранить одинъ хорошій видь, ибо свобода есть,
конечно, родовой признакъ всей духовной жизни, а сл'я довательно и прессы. Чтобы уничтожить возможность зла, онь
уличтожаеть также возможность добра, и осуществляетъ такимъ
образомъ зло, потому что челов'я чески хорошимъ можеть
быть только то, что является осуществленіемъ свободы.

Поэтому мы до тѣхъ поръ будемъ считать подцензурную печать дурной, пока намъ не докажуть, что цензура вытекаеть

изъ самаго существа свободы нечати.

Но если даже согласиться, что цензура родилась вмѣстъ съ печатью, хотя ни одинъ звѣрь, тѣмъ болѣе духоное существо, не рождается на свѣтъ Божій въ цѣпяхъ, то что же отсюда слѣдуетъ? А то что и та свобода печати, которой пользуется оффиціальная сторона, т. е. цензура также нуждается въ цензуръ. А кто же долженъ цензурировать правительственную печать, какъ не народная пресса?

Другой ораторъ думаеть, будто вредъ цензуры уничтожается тъмъ, что она утроена, что цензура подчинена провинціальной цензуръ, а провинціальная—берлинской, и что сво-



бода печати была-бы односторонней, а цензура многостороння. Приходится столько извиваться, чтобы жить! А кому цензурировать берлинскую цензуру? И мы опять обращаемся

къ нашему оратору.

Въ самомъ началъ своей ръчи онъ поучалъ насъ, что изъ борьбы между хорошей и дурной печатью не можетъ родиться свътъ, но можемъ-ли мы теперь спросить его, не хочетъ-ли онъ эту безполезную борьбу сдълать въчной? И развъ по его же собственной теоріи, борьба между цензурой и печатью не является борьбою между хорошей и дурной печатью?

Цензура не прекращаеть этой борьбы-она дёлаеть ее односторонней, она обращаеть открытую борьбу въ скрытую, она обращаеть борьбу принциповъ въ боьрбу между безсильнымъ принципомъ и безпринципнымъ насиліемъ. Истинная, лежащая въ самомъ существъ свободы печати, цензура есть критика; это тоть судь, который она сама надъ собою творить. Цензура есть критика, составляющая монополію правительства; но разв'є критика не теряеть своего разумнаго смысла, когда она—не открытая, а тайная, когда она не теоретическая, а практическая, когда она стоить не надъ партіями, а сама представляеть партію, когда она действуеть не острымь ножемъ разума, а тупыми ножницами производа, когда она хочеть только воспользоваться критикой, какъ орудіемъ, но сама ея не выносить, когда она отдаваясь, отрекается отъ самой себя, когда она настолько не критична, что вмъсто общаго разума подставляеть отдъльную личность, вмъсто разума употребляетъ силу, вмъсто солнечныхъ пятенъ — чернильныя пятна, вмъсто математическихъ построеній кривыя линіи цензора, и вмъсто рышительных аргументовъръшительные удары?



бода печати была-бы односгоронней, а цензура многосторонна Приходится столько испарти: чтобы жигь. А скому пензурнуювать беклинекую цензурт? И ны опить обращаемой

Выше мы показали, какъ фантастическая, полная умиленія и мягкосердія мистика оратора превращалась въ жестокосердіе плутоватаго практическаго разума и въ ограниченность безъидейнаго эмпирическаго разсчета. Своими разсужденіями объ отношеніи между закономъ о цензурѣ и закономъ о печати, между предупредительными и репрессивными мѣрами, онъ избавляеть насъ отъ необходимости продѣлать этотъ трудъ, такъ какъ онь самъ приходитъ къ извъстнымъ

способамъ практическаго примъненія своей мистики.

предупредительныя или репрессивныя мары, цензура или законы о печати, воть о чемъ только идеть рвчь, при чемъ, однако, небезполезно было-бы поближе разсмотръть тъ опасности, которыя следовало-бы устранить съ той или другой стороны. Въ то время, какъ цензура стремилась бы предотвратить зло, законь о печати, посредствомъ наказанія, предохраняль-бы только отъ повторенія его. Какъ и всякое человъческое учреждение, объ эти мъры были-бы несовершенны; которая изъ нихъ менъе совершенна, вотъ въ чемъ вопросъ. Такъ какъ ръчь идеть о чистомъ духовномъ факторъ, то одна задача, и при темъ самая важная, никогда не могла-бы быть разръщена, ни для той, ни для другой стороны. Задача эта заключалась-бы въ томъ, чтобы найти такую форму, въ которой намъренія законодателя были бы выражены настолько ясно и опредъленно, чтобы право ступленіе были ръзко разграничены и быль бы устранень всякій произволь. Но что такое произволь, какь не образь дъйствій, согласно собственному взгляду? И какъ можно устранить вліяніе личныхъ взглядовъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о чисто умственной жизни? Найти ръзко проведенную черту, которая съ твердой необходимостью указывала-бы, какъ каждомъ отдъльномъ случав должна быть примвнена воля законодателя, это значить найти тоть философскій камень, который до сихъ поръ не быль найденъ и который такъ трудно найти, а потому произволь, если подъ этимъ понимать образъ дъйствій по собственному взгляду, неразрывно связанъ



какъ съ цензурой, такъ и съ закономъ о печати. Поэтому же намъ приходится считаться съ неизбѣжнымъ несовершенствомъ обоихъ и съ вытекающими изъ этого несовершенства послѣдствіями. Въ то время, какъ цензура будетъ подавлять много хорошаго, законъ о печати не будетъ въ состояніи предотвратить большего зла. Все-таки правду нельзя задавить надолго. Чѣмъ больше препятствій она встрѣчаетъ на своемъ пути, тѣмъ мужественнѣе она преслѣдуетъ свою цѣль, тѣмъ болѣе просвѣтленной она достигаетъ ея. Но дурное слово подобно треческому огню, неудержимое, какъ только оно было произнесено, неисчислимое въ своихъ дѣйствіяхъ, потому что для него нѣтъ ничего святого; неугасимое, потому что оно находитъ постоянную пищу въ человѣческомъ сердчѣ".

Ораторъ несчастенъ въ своихъ сравненіяхъ. Поэтическій экстазъ охватываетъ его, когда онъ изображаеть все могущество зла. Мы уже разъ слыхали, какъ рядомъ съ заманчивой пъсней зда безсильно звучалъ голосъ добра, потому что онъ трезвый. Теперь зло обратилось въ греческій огонь, а для правды ораторъ не нашелъ никакого сравненія, и если мы возьмемь для сравненія его "трезвую" річь, то правда оказалась-бы въ лучшемъ случав булыжникомъ, который даеть тыть болье яркія искры, чыть сильные его ударяють. Это хорошій доводъ для торговца невольниками, чтобы кнутомъ выбить у негра всякое человъческое чувство, превосходная максима для законодателя — принимать репрессивныя мъры противъ правды для того, чтобы она тъмъ мужественнье преследовала свою цель. Ораторъ, повидимому, только тогда и проникается уваженіемъ къ правд'ь, когда она выпрямляется въ свой естественный рость и демонстрируеть себя отрицательнымъ образомъ. Чемъ больше преградъ вы ставите правдь, тымь болье крыпкую правду вы получаете! Всегда преграды! пред прушения и инфака при повод

Пусть спрены поють свои заманчивыя пъсни!

мистическая "теорія несовершенства" принесла, наконець, нашему оратору свои земные плоды; она ударила своими лунными камнями по нашимъ головамъ; разсмотримъ же эти лунные камни!

Все на свъть несовершенно. Цензура несовершенна, за-



коны о печати несовершенны. Ихъ сущность этимъ уже распознана, о правотъ ихъ идеи сказать больше нечего, намъ не остается ничего другого, какъ только съ точки зрънія низменной эмпиріи установить на основаніи разсчета по теоріи въроятности, на какой сторонъ больше опасностей. Это чисто временное различіе, —предотвратитъ ли самое зло при помощи цензуры или повтореніе зла при помощи законовъ о печати.

Тенерь видно, какъ ораторъ своей пустой фразой "о человъческомъ несовершенствъ" обошелъ существенное, внутреннее, характерное различіе между цензурой и закономъ о печати и отъ принципальнаго спора перешелъ къ вуль-гарному вопросу о томъ, у кого будетъ болѣе голубой носъ, у цензуры или у законовъ о печати.

Но когда противопоставляють законъ о печати закону о цензурѣ, то вопросъ идетъ не объ ихъ послѣдствіяхъ, а объ

ихъ основаніи, не объ ихъ индивидуальномъ примъненіи, но объ ихъ общей правильности. Уже Монтескье училь, что на практикъ деспотія удобнье, чъмъ законность, а Маккіавели утверждаеть, что для князей зло имьеть лучшія послъдствія, чъмъ добро. Если мы этимъ не хотимъ оправдать стараго іезунтскаго правила, что хорошая цъль, —мы даже сомнъваемся въ томъ, что цъль хороша, —освящаеть дурныя средства, то мы должны прежде всего изслъдовать, является ли цензура

по существу своему хорошимъ средствомъ. Ораторъ правъ, когда называетъ законъ о цензуръ преду-Ораторъ правъ, когда называетъ законъ о цензуръ предупредительной мърой, она является предостерегающимъ средствомъ для полиціи противъ свободы, но онъ неправъ, когда
называетъ законъ о печати репрессивнымъ законоположеніемъ.
Это есть законъ самой свободы, которая сама устанавливаетъ
мъру ея ограниченія. Цензурное мъропріятіе не есть законъ.
Законъ о печати не есть мъропріятіе. При помощи закона о
печатикараетъ свобода. Закономъ о цензуръ карается сама свобода.
Законъ о цензуръ есть законъ, заподозрившій самое свободу.
Законъ о печати есть голосъ довърія, который свобода за себя
полаетъ Законъ о печати караетъ злочнотребленіе свободой. подаеть. Законъ о печати караеть злоупотребление свободой. Законъ о цензуръ караетъ свободу, какъ злоупотреблене. Цензура обращается со свободой, какъ съ преступницей, или развъ во всъхъ кругахъ не считается почетнымъ наказаніемъ—



состоять подъ полицейскимъ надзоромъ? Законъ о цензуръ носить только форму закона. Законъ о печати есть дъйствительно законъ.

Законъ о печати есть дъйствительно законъ потому, что онъ представляеть собой положительное существо свободы. Онъ разсматриваетъ свободу, какъ нормальное состояніе печати, печать какъ извъстное проявление свободы, и вступаетъ въ конфликтъ съ проступкамъ печати только, какъ съ исключеніемъ, которое, нарушивъ собственный законъ, тъмъ самымъ себя упразднило. Свобода печати проявляется какъ законъ о печати противъ покушеній на нее самое, т. е. противъ проступковъ, совершенныхъ посредствомъ печати. Законъ о печати разъясняеть преступнику свободу. Поэтому то, что преступникъ совершилъ противъ свободы, онъ совершилъ противъ самого себя, и учиненное имъ себъ самому правонарушение влечеть за собою наказаніе, которое указываеть ему, что за нимь, какь и за всёми, признается свобода.

Такь какъ законъ о печати далекъ отъ того, чтобы быть репрессивной мфрой противъ свободы печати, простымъ средствомъ предупредить угрозой наказанія повтореніе проступка, то отсутствие законодательства о печати должно быть разсматриваемо какъ исключение свободы печати изъ сферы правовой свободы, потому что юридическое признаніе свободы существуеть въ государствъ, какъ законъ. Законы сами по себъ ни коимъ образомъ не являются репрессивными мърами противъ свободы, точно также, какъ законъ тяжести не есть репрессивная міра противъ движенія, ибо хотя онъ, какъ законъ всемірнаго тяготьнія, управляеть вычными движеніями міровыхъ тълъ, но какъ законъ паденія онъ убиваеть меня, если я его нарушаю и желаю танцовать въ воздухъ. Законы —это скоръе всего тъ положительныя, свътлыя, всеобщія нормы, въ которыхъ свобода получила свое отвлеченное, теоретическое, независимое отъ произвола отдъльнаго человъка существованіе. Сводъ законовъ составляеть библію вольностей свободнаго народа.

Законъ о печати есть, такимъ образомъ, законное признаніе свободы печати. Это есть право, потому что оно составляеть положительное содержание свободы. Поэтому законь о



печати долженъ существовать, даже если-бы онъ никогда не примънялся, какъ въъ верной Америкъ, въ то время, какъ цензура, такъ же мало, какъ и рабство, можетъ когда-либо стать правовымъ явленіемъ, даже если она тысячу разъ будеть существовать, какь законь. Колон водор азбилавурден эно

Не существуеть никакихъ дъйствительныхъ предупредительныхъ законовъ. Законъ предупреждаеть только, какъ заповъдь. Дъйствующимъ законъ дълается лишь тогда, когда его преступили, ибо истиннымъ законъ бываетъ только тогда, когда въ немъ безсознательный естественный законъ свободы сдъдался опредъленнымъ государственнымъ закономъ. Тамъ, гдъ законы являются дъйствительнымъ закономъ, т. е. осуществленіемъ свободы, тамъ онъ обозначаеть свободное существование человъка. Законы, такимъ образомъ, не могутъ предупреждать дъйствій человька, потому что они суть внутренніе жизненные законы самихъ его дъйствій, сознательное отражение его собственной жизни. Законъ отступаеть передъ жизнью человъка, какъ передъ жизнью свободы, и только, когда дъйствительное поведение человъка показало, что онъ пересталь подчиняться естественному закону свободы, законъ, какъ государственная норма принуждаеть его быть свободнымь, подобно тому, какъ физические законы только тогда выступаютъ противъ меня, какъ нѣчто чуждое, когда моя жизнь перестала подчиняться велѣніямъ жизненныхъ законовъ, когда я заболѣлъ. "Предупредительный законъ" есть такимъ образомъ безсмысленное противоръчіе.

Предупредительный законъ, поэтому, не имъетъ никакой мъры въ себъ, никакого разумнаго основанія, такъ какъ разумное правило вытекаеть только изъ природы самой вещи, въ данномь случав, свободы. Онь потому не имветь мвры въ себъ, что если задаться цълью предупреждать свободу, то это предупреждение должно быть такого же объема, какъ и его противоположность, т. е. оно должно быть неограниченно. Поэтому предупредительный законь есть такое же противорычіе, какъ "неограниченное ограниченіе", если же онъ иногда и прекращаеть свое дъйствіе, то не въ силу необходимости, а по произволу, какъ это ежедневно съ очевидностью демонстрируеть цензура. Закобою электионо сопакотняюной атек



- Человъческое тъло по природъ своей смертно. Поэтому болѣзни не могутъ не являться. Почему же къ человѣку зовутъ врача только тогда, когда онъ заболѣваетъ, а не тогда, когда онъ здоровъ? а потому, что не только болъзнь, но и врачь непріятны. Подъ опекой врача жизнь ділается противной, и человъческое тъло становится объектомъ воздъйствія медицинской коллегіи. Развѣ не болѣе желательна смерть. чвить, какъ сплошное предупредительное средство противъ смерти? Развъ свободное движение не составляетъ также одной изъ формъ жизни? Что такое всякая бользнь. какъ не подавленная въ своей свободъ жизнь? Находиться подъ въчной опекой врача-это такая жизнь, отъ которой никогда не намърены умирать, но намърены жить. Пусть жизнь умираетъ; смерть не должна жить. Развъ душа не имъетъ больше правъ, чъмъ тъло? Конечно, часто это толковали такимъ образомъ, что свободному духу тълесныя движенія даже вредны, и поэтому посл'єднія должны быть устранены. Цензура исходить изъ того, что считаеть бользны нормальнымъ состояніемъ, или нормальное состояніе, свободу, за бользиь. Она постоянно увъряеть печать въ ея бользии, и пусть печать даеть самыя лучшія доказательства своего здороваго жизненнаго сложенія, она все-таки должна находиться на попеченіи врача.

Но цензура никоимъ образомъ не ученый врачъ, который примъняетъ различныя внутреннія средства сообразно бользии. Цензура это деревенскій хирургъ, который знаетъ универсальное механическое средство отъ всего, ножницы. Цензура это не хирургъ, цълью котораго является мое здоровое состояніе, но эстетъ въ хирургіи, который въ моемъ тълъ считаетъ лишнимъ все то, что ему не нравится и отръзаетъ то, что ему непріятно; это шарлатанъ, который загоняетъ сыпъвнутрь, чтобы ее не видно было, не заботясь о томъ, что она поразитъ болъе тонкія внутреннія ткани.

Вы считаете несправедливымъ ловить птицъ. Развъ ръшетка не есть предупредительное средство отъ хищныхъ птицъ, отъ пуль и бурь? Вы считаете варварствомъ ослъплять соловьевъ, и вы не видите никакого варварства въ томъ, чтобы втыкать острыя перья цензуры въ глаза печати? Вы счи-



таете деспотизмомъ остричь свободному человѣку волосы противъ его желанія, а цензура ежедневно вырѣзаетъ у писателей дучшую часть ихъ души и оставляетъ не тронутыми только безсердечныя тѣла, тѣла ни на что не реагирующія,

выдавая ихъ за здоровыя.

Мы показали, на сколько законъ о печати справедливъ, а законъ о цензуръ—несправедливъ. Но сама цензура признаеть, что она не является самоцълью, что она добро не an ûnd für sich (сама по себъ), что она не покоится на правахъ: цъль освящаетъ средства. Но цъль, которая нуждается въ дурныхъ средствахъ, не есть священная цъль; наконецъ, развъ печать также не можетъ усвоить себъ этого правила и хвалиться: цъль оправдываетъ средства.

Законъ о цензурѣ не есть такимъ образомъ законъ, а полицейская мѣра, и притомъ дурная полицейская мѣра, потому что не достигаетъ того, чего желаетъ, и не желаетъ

того, чего достигаеть.

Если законъ о цензурѣ хочетъ предупредить свободу, какъ злоупотребленіе, то послѣдствія цензуры получаются какъ разъ обратныя. Въ странѣ цензуры каждое запрещенное, т. е. напечатанное безъ дозволенія цензуры произведеніе, есть цѣлое событіе. Оно носитъ на себѣ вѣнецъ мученичества, а нѣтъ мученика безъ святого сіянія и безъ вѣрующихъ. Оно цѣнится, какъ исключеніе, и такъ какъ свобода никогда не перестанетъ быть цѣнной для человѣка, то тѣмъ болѣе оно цѣнится, какъ исключеніе изъ всеобщаго рабства. Всякая тайна привлекательна. Тамъ, гдѣ общественное миѣніе является тайной для себя самого, оно всегда готово увлечься произведеніемъ, которое формально ломаетъ таинственныя перегородки, установленныя цензурой. Цензура дѣлаетъ всякое запрещенное произведеніе, безразлично, хорошее ли оно или дурное, необыкновеннымъ произведеніемъ, въ то время какъ свободная печать беретъ отъ каждаго произведенія только существенно важное.

Если же у цензуры честныя намъренія, то она, стремясь предотвратить произволь, превращаеть тоть же произволь въ законь. Она не въ состояніи предотвратить ни одной опасности, которая была-бы больше, чъмъ она сама. Каждому



существу грозить смертельная опасность, когда оно теряется. Поэтому рабство есть настоящая смертельная опасность для человъка. Оставляя на время нравственныя послъдствія свободной печати, помните, что вы не можете использовать ея преимуществъ, не примиряясь въ то же время съ ея неудобствами. Вы не можете сорвать розу безъ шиповъ! А что вы

теряете при свободѣ печати?

Свободная печать есть вездѣсущій открытый глазъ народнаго духа, воплощенное довѣріе народа къ самому себѣ, та создаваемая человѣческимъ словомъ связь, которая соединяеть отдѣльнаго человѣка съ государствомъ и со всѣмъ міромъ, та воплощенная культура, которая возводить матеріальную борьбу въ борьбу духовную и идеализируеть ея грубый плотскій обликъ. Это — безпощадное покаяніе народа предъ самимъ собой, а, какъ извѣстно, исповѣдь облегчаеть душу. Это духовное зеркало, въ которомъ народъ видить самого себя, а самосозерцаніе есть первое условіе мудрости. Это духъ государства, который можно распространять въ любой избушкѣ гораздо дешевле, чѣмъ матеріальный газъ. Она всестороння, вездѣсуща и всезнающа. Она представляеть собою тоть идеальный міръ, который безпрерывно бьеть ключомъ изъ міра дѣйствительнаго, и, вдохновляясь имъ все болѣе и болѣе, обогащаясь духовно, возвращается обратно въ тоть же міръ дѣйствительности.

Предшествующее изложеніе показало, что цензура и законъ о печати различаются между собой, какъ произволь и свобода, какъ формальный законъ и дъйствительный законъ. Но что върно для самаго существа, остается также върнымъ по отношенію къ его проявленіямъ. Что върно относительно степени справедливости того и другого закона, то върно также о способахъ и характеръ примъненія того и другого закона. Какъ различаются между собой законъ о цензуръ и законъ о печати, такъ же различны отношенія судьи и цензора

къ печати.

Конечно, нашъ ораторъ, у котораго глаза обращены въ небо, видить землю такъ далеко подъ собой, что она представляется ему какимъ-то холмомъ пыли: понятно, что онъ ничего не можеть сказать о цвътахъ, растущихъ на землъ, кромъ того,



что они покрыты пылью. Точно также и здёсь онъ видитъ только двѣ мѣры, которыя въ своемъ примѣненіи обѣ произвольны, потому что произволь есть образъ дѣйствій сообразно личнымъ взглядамъ, личные же взгляды неразрывно связаны съ духовной областью и т. д., и т. д. Но если понимание духовной области индивидуально, то какое же преимущественное право имъетъ одинъ взглядъ передъ другимъ, мнъніе цензора передъ мнъніемъ писателя? Но мы понимаемъ оратора. Онь дылаеть достопамятный обходь, изображая и цензуру, и законъ о пачати несправедливыми въ ихъ практикъ для того, чтобы оправдать цензуру, и такъ какъ онъ знаетъ, что все земное несовершенно, то для него остается только одинъ вопросъ, долженъ ли произволь быть на сторонъ правительства

или на сторонъ народа.
Его мистика превращается въ своеволіе: законъ и произволь онъ ставить на одну ступень и видить лишь формальное различіе тамъ, гдѣ рѣчь идеть о нравственныхъ и правовыхъ противоположностяхъ, потому что онъ полемизируетъ не противъ закона о печати, а противъ закона вообще. Но развъ существуеть такой законъ, который заключаль бы въ себъ необходимость примънять его въ каждомъ отдъльномъ случаб, сообразно мысли законодателя, и абсолютно исключаль-бы возможность произвола? Надо обладать невъроятною храбростью, чтобы такую беземысленную задачу называть философскимъ камнемъ, ибо только самое крайнее невъжество можеть поставить такой вопросъ. Законъ имъеть всеобщую силу. Тоть случай, который должень быть опредблень согласно закону, есть частный случай. Подвести частичное подъ общее-въ этомъ и заключается сужденіе. Сужденіе это проблематично. Судья также подчиненъ закону. Еслибы законы

(вшьте, пейте!). Зачвив вамь судьи, когда судьи — тв же люди? Зачъмъ вамъ законы, когда законы могутъ быть выполнены только людьми, а всякое человъческое дъйствіе несовершенно? Предоставьте же себя доброй волъ выше васъ поставленныхъ! Рейнское правосудіе такъ-же несовершенно,

какъ и турецкое: поэтому: edite, bibite!



Какая разница между судьей и цензоромъ!

Пензоръ не знаетъ никакого закона, кромѣ своего начальства. Судья не знаетъ никакого начальства, кромѣ закона. Но на судъѣ лежитъ обязанность толковать законъ въ его примѣненін къ данному случаю, какъ онъ его понимаетъ послѣ извѣстнаго изслѣдованія, на цензорѣ лежитъ обязанность понимать законъ такъ, какъ ему будетъ оффиціально разъяснено примѣнительно къ данному случаю. Независимый судъя не принадлежитъ ни мнѣ, ни правительству. Независимый цензоръ есть самъ по себѣ членъ правительства. У судъи въ крайнемъ случаѣ выступаетъ ненадежность его разума, у цензора—ненадежность его характера. Передъ судъей стоитъ опредѣленный проступокъ печати, передъ цензоромъ—оказывается въ отвѣтѣ самый духъ печати. Судъя судитъ мой поступокъ согласно опредѣленному закону. Цензоръ же не только караетъ преступленія—онъ также ихъ создаеть. Если я нахожусь передъ судомъ, то меня обвиняють въ томъ, что я нарушить законъ, таковой долженъ существовать. Тамъ, гдѣ не существуетъ закона о печати, тамъ нельзя переступить его. Цензура не обвиняетъ меня въ томъ, что я переступить существующій законъ. Онъ осуждаетъ мое мнѣніе за то, что оно несогласно съ мнѣніемъ цензора и его начальства. Мой открытый поступокъ, который я хочу отдать на судъ свѣта, государства и его законовъ, судится какой-то темной, отрицательной силой, которая бельть уложена въ законныя ражки, которая полициянами.

жеть быть уложена въ законныя рамки, которая боится дневного свёта, которая не связана никакими общими принципами. Законъ о цензурів—невозможень, потому что онъ караеть не преступленія, а миінія, потому что онъ не можеть быть ничімь другимь, какъ тімъ же цензоромь, потому что ни одно государство не им'ветъ мужества выразить въ общихъ правовыхъ нормахъ то, чего оно фактически можетъ добиться носредствомъ цензуры Поэтому зав'ядываніе цензурой предо-

ставлено не судамъ, а полиціи.

Даже еслибъ цензура фактически была тѣмъ же, что и правосудіє, то это было бы прежде всего фактомъ, а не необходимостью. Къ свободѣ относится не только то, для чего я живу, но въ такой же степени и то, какъ я живу, не только то,

что я осуществляю свободу, но также и то, что я ее осуществляю свободно. Иначе, что же отличало бы строителя отъ бобра, какъ не то, что бобръ—строитель въ шкурѣ, а строитель—бобръ безъ шкуры?

тель—бобръ безъ шкуры?

Нашъ ораторъ еще разъ доходить до излишества, когда говорить о вліяніи свободы печати въ тѣхъ странахъ, гдѣ она существуеть. Такъ какъ мы уже достаточно говорили на эту тему, то мы остановимся только на французской печати. Не говоря уже о томъ, что недостатки французской печати суть недостатки французскаго народа, мы не находимъ вреда тамъ, гдѣ его ищетъ ораторъ. Французская печать не слишкомъ свободна, она, напротивъ, недостаточно свободна. Хотя она не подчинена никакой духовной цензурѣ, но она подчинена матеріальной цензурѣ, крупнымъ денежнымъ залогамъ. Она потому дъйствуетъ матеріалистически, что она, вмъсто своей истинной сферы втянута въ сферу крупныхъ торговыхъспекуляцій. Кътому сферы, втянута въ сферу крупныхъ торговыхъ спекуляцій. Къ тому же крупныя спекуляціи болье всего распространены въ крупныхъ городахъ. Поэтому французская печать сосредоточена въ небольшомъ числъ мъстъ, а если матеріальная сила, сосредоточенная

въ немногихъ пунктахъ, дъйствуетъ демонически, то почему же не дъйствовать такимъ же образомъ духовной силъ?

Но если вы всетаки хотите обсудить вопросъ о свободъ печати не съ точки зрънія ся идейнаго содержанія, а на основаніи ся историческаго прошлаго, то почему же вы не взяли для примъра ту печать, которая дъйствительно имъетъ серьезное, историческое прошлое. Естествоиспытатели стремятся при помощи экспериментовъ поставить явленіе природы въ его самыя чистыя условія. Вы не нуждаетесь въ экспериментахъ. Вы находите явленіе, именуемое свободною печатью, въ Съверной Америкъ, въ наиболъе чистыхъ, естественныхъ для него условіяхъ. Но если наиоолъе чистыхъ, естественныхъ для него условіяхъ. Но если Съверная Америка имъетъ великія историческія основанія для свободы печати, то тъмъ болье ихъ имъетъ Германія. Литература и ростъ духовнаго развитія народа представляютъ собой не только непосредственныя историческія основанія для печати, но и самую ея исторію. А какой еще другой народъ въ міръ можетъ похвастать такими непосредственными историческими основаніями для свободы печати, какъ нъмецкой народъ? Но, прерываетъ насъ снова ораторъ, торе нъмецк й морали,

nmesemme cecomomeso

если нъмецкая печать будеть свободна, такъ какъ свобода печати порождаеть "внутреннюю деморализацію, которая стремится подорвать въру въ высшее предназначеніе человъка и

вмъстъ съ ней основание истинной цивилизаци".

Деморализующимъ образомъ дъйствуетъ подцензурная печать. Порокъ, возведенный въ степень, лицемъріе неразрывно связано съ ней, и изъ этого ея основнаго порока вытекаютъ всъ ея другіе недостатки, въ которыхъ нѣтъ даже намека на добродътель, ея отвратительные, даже съ точки зрѣнія эстетики, пороки, вытекающіе изъ ея пассивности. Правительство слышитъ только свой собственный голосъ, оно знаетъ, что слышитъ только свой собственный голосъ, и все-таки поощряетъ обманъ, будто оно слышитъ голосъ народа и требуетъ еще, чтобы народъ, поддерживалъ его въ этомъ обманъ. Съ своей стороны народъ, благодаря этому частью утопаетъ въ политическихъ суевъріяхъ, частью въ политическомъ невѣжествѣ или, совершенно устраненый отъ государственной жизни, превращается въ чернь.

Такъ какъ печать ежедневно восхваляеть дѣйствія правительства, хотя самъ Богъ только на шестой день сказаль о своихъ собственныхъ твореніяхъ: "И увидѣлъ онъ, что все было хорошо", и такъ какъ одинъ день по необходимости противорѣчить другому, то печать постоянно лжетъ, и, вынужденная скрывать свою ложь—теряетъ такимъ образомъ всякій

стыдъ.

Такъ какъ народъ принужденъ смотръть на свободныя произведенія, какъ на незаконныя, то онъ пріучается считать незаконное— свободнымъ, свободу— незаконной, а все законное— несвободнымъ. Такъ цензура умерщвляетъ духъ госу-

дарства.

Но нашь ораторь боится свободы печати для "частныхь лиць". Онь забываеть, что цензура есть постоянное гокушеніе на права частныхъ лиць и еще больше на ихъ идеи. Онь впадаеть въ паерсь, когда грворить объ опасности, угрожающей отдъльнымъ личностямь, а намъ воспрещается впадать въ паерсь, когда мы говоримъ объ общей опасности!

Мы подчеркнемъ самымъ ръзкимъ образомъ разницу между нашими взглядами и взглядомъ оратора, если противоноста-

вимъ его опредъленіямъ "дурного образа мыслей" наше событь ственное.

ственное. Дурнымъ образомъ мыслей считается "гордыня, непризнающая никакого авторитета за церковью и государствомъ". И не должны ли мы въ свою очередь считать дурнымъ такой образъ мыслей, который не признаеть авторитета разумнаго, вакона? "Это-зависть проповъдуеть уничтожение всего то и что толпа называеть аристократіей", а мы говоримь: Это зависть, хочеть уничтожить вбиную аристократію человфисской природы, свободу, аристократію, которой сама чернь не оспариваеть. "Это-коварное злорадство издъваться надъ человъческой личностью, не считаясь съ тъмъ, есть ли основаніе къ такому издівательству или ніть, — и повелительно взывать къ общественному мнѣнію для того. чтобы ни одинъ скандаль изъ частной жизни не остался бы скрытымь", Это коварное злорадство-вырывать изъ великой жизни народовъ силетни, превратно понимать историческій разумъ, пропов'ядывать публикъ только скандальныя стороны исторіи и, вообще, не будучи способнымъ обсуждать предметь по существу, цъпляться только за отдъльныя части явленія, за личности, и повелительно требовать тайны для того, чтобы всякое позорное пятно общественной жизни осталось скрытымь. "Это только развращенное сердце и фантазія, находить удовольствіе въ щекочущихъ соблазнительныхъ образахъ". Это — только развращенное сердце и воображение щекочуть сами себя соблазнительными картинами всемогущества зла и безсилія побра; это — воображеніе, которое гордится своимь грахомь, это нечистое сердце, которое прячеть свое свътское высокомъріе въ мистическихъ образахъ. "Это — отчаяніе, что всякая надежда на спасеніе погибла, отчаяніе, которое стремится заглушить голосъ совъсти отрицаніемь Бога". Это—отчаяніе, что всякая надежда на спасение погибла, отчаяние, которое возводить слабость личную въ слабость всего человъчества затъмь, чтобы свалить ее съ собственной совъсти, - это отчаяние, что нельзя спасти человъчество, отчаяние, которое запрещаеть ему следовать естественнымъ, врожденнымъ законамъ, и проповъдуетъ несовершенство, какъ необходимость, это лицемъріе, моторое прикрывается именемъ Бога, не въря въ его сущность,



во всемогущество добра, это своекорыстіе, которому собственное спасеніе дороже спасенія встхъ. Тоозвода дипатоодон до эн

Эти люди вообще сомивваются въ человъчествъ, и канонизирують отдельныхъ людей. Они рисують страшную картину человъческой природы, и въ тоже самое время требують, чтобы мы пали ницъ передъ священнымъ изображениемъ отдля дезертиретва. Эта предабобажиння водительной в жиннакап

Мы знаемь, что отдельный человыкь слабы, но мы знаемь

TAKKE, TTO BEE BUSCIE CHILDEN, MINEUL, ALDIAM REHTRIQU ANDER

Възаключени ораторъ вспоминаетъ тъ слова, которыя прозвучали съ вътвей древа познанія о наслажденіяхъ, плоды котораго мы теперь, какъ и тогда, продаемь: "Възму-кахъ вы будете умирать, если вкусите отъ него, ваши глаза раскроются, вы будете, какъ боги, познающе доброги зло"новье и (миньсф. в. т.) аньстра бот да втума внаяла

Хотя мы сомнъваемся, что ораторъ вкусилъ отъ древа познанія, и что мы (рейнскіе земскіе чины) тогда торговались св двяволомь, о чемъ по крайней мъръ книга Бытія ничего не разсказываеть, мы все-таки становимся на точку зрвнія оратора и напоминаемъ ему, что дьяволь не обмануль насъ тогда, потому что Богь самь сказаль: "Адамь сдъдался подобень одному изъ насъ, познавъ добро и зло". Оджал

Эпилогь къ этой ръчи мы, по всей справедливости, предоставляемы сказать оратору собственными словами: "Писать и

произносить рѣчи это-механическій навыкъ".

Такъ какъ нашъ читатель, въроятно, очень усталь отъ этого "механическаго навыка", то мы должны, для полноты картины, выслушавъ представителей княжескато и рыцарскаго сословій, заставить также высказаться промиво свободи нечати городское сословіе.

Передъ нами оппозиція буржуа, а не гражданъ. Ораторъ изъ городского сословія хочеть связать свою рѣчь съ имененъ аббата Сіейса такимъ мѣщанскимъ замѣчаніемъ: "свобода печати хорошая вещь, пока не вмѣшиваются дурные люди". "Противъ этого до сихъ поръ не найдено испытаннаго средства оп и т. д., чито до прости и на выпратом подп

Такая точка зрънія, согласно которой свобода печати называется вещью, уже достойна похвалы за свою напвость.



Этого орасора можно упрекать въ чемъ угодно, только не въ недостаткъ трезвости или въ избыткъ воображенія.

Итакъ, свобода печати—хорошая вещь, даже нѣчто такое, что украшаетъ сладкій даръ жизни, пріятная славная вещь! Но есть также — дурные люди, у которыхъ языкъ предназначенъ для лжи, голова—для коварства, руки—для воровства, ноги—для дезертирства. Эта прекрасная вещь, которая имѣетъ дѣло со словами и мыслями, трактуетъ о рукахъ и ногахъ; хорошій языкъ, пріятная мысль, ловкія руки, а въ особенности великолѣпныя ноги, еслибы только не было дурныхъ людей, которые ими злоупотребляютъ! Но еще не придумали никакого "средствица" противъ этой бѣды.

"Симпатіи къ конституціи и къ свободѣ печати должны по необходимости ослабѣть, когда видишь, какъ съ ними была связана смута въ той странѣ (т. е. Франціи) и безпокойная

неувъренность въ будущемъ".

Когда впервые было сдълано всѣмъ извѣстное открытіе, что земля вѣчно движется, то, вѣроятно, какой-нибудь мирный нѣмецъ схватился за свой ночной колпакъ и вздохнулъ о вѣчно измѣнчивыхъ обстоятельствахъ, переживаемыхъ матерью-землей, и безпокойный страхъ за будущее вселялъ ему домъ, который каждое мгновеніе становился на голову.

Свобода печати такъ же мало повинна въ смутѣ, какъ подзорная труба астронома—въ неутомимомъ движеніи міровой системы.

Злая астрономія! Что это было за прекрасное время, когда земля, какъ порядочный, честный буржуа, сидѣла еще по срединѣ міра, курила мирно свою земную трубку и никогда не должна была зажигать для себя самой своего огня, такъ какъ солнце, луна и звѣзды, какъ лампадки и "хорошія вещи", благоговѣйно танцовали вокругъ нея.

"Wer nie, was er gebaut, zerstört, der steht stät." Auf dieser ird'schen Welt, die selbst nicht stät steht".

(Кто никогда не разрушаетъ того, что строилъ онъ, тотъ На землъ всегда стоитъ, хотя сама земля и не всегда стоитъ),

сказаль Гарири, который быль вовсе арабомь, а не кореннымь французомь.

Совершенно опредъленно выясняется положение оратора



въ слъдующемъ мъстъ его ръчи: "Истинный, честный патріотъ не въ силахъ подавить въ себъ того чувства, что конституція и свобода печати нужны не для блага народа, но для удовлетворенія честолюбія отдъльныхъ лицъ и для господ

ства партій".

Извъстно, что есть психологія, которая объясняєть великое малыми причинами и, исходя изъ върнаго предчувствія, что все, за что человъкъ берется, есть дъло его интереса, приходить къ невърному заключенію, будто существують только маленькіе интересы, только стереотипные интересы своекорыстія. Далъе извъстно, что этоть родь психологіи и науки о человъкъ преимущественно обрътается въ городахъ, гдъ говорятъ, что у тебя ума—палата, если ты оглядываешь весь міръ и за тучами идей и фактовъ видишь только маленькихъ, завистливыхъ, полныхъ интригъ маріонетокъ, которыя при помощи нитокъ тянутъ за собою все. Точно также извъстно, что если слишкомъ близко вглядываешься въ стекло, то ударяещь свою собственную голову, и такимъ образомъ оказывается, что у этихъ умныхъ людей наука о человъкъ и о вселенной является мистификаторскимъ ударомъ по собственной головъ.

Половинчатость и неопредёленность также характеризують то положеніе, которое заняль нашь ораторь. "Его чувство независимости говорить за свободу печати (т. е. въ смыслѣ того предложенія, которое было внесено въ ландтагѣ), но онъ

долженъ подчиниться голосу разума и опыта".

Если-бы ораторъ въ заключение сказалъ, что хотя его разумъ высказывается за свободу печати но чувство зависимости—противъ нея, то тогда его рѣчь была-бы совершенно жанровой картинкой реакціонности городского сословія.

Wer eine zung hat ûnd spricht nicht, Wer eine Kling hat ûnd ficht nicht, Was ist der wohl, wenn ein Wicht nicht? (Кто владъетъ языкомъ и не говоритъ, Кто владъетъ мечемъ и не сражается, Про того всякій скажетъ, что онъ негодяй). сьсепень и подаваний на подаваний на пород на пород на пород на пород на подаваний на пород на подаваний на пород на по

Теперь перейдемь къ защитникамъ свободы печати и начнемь съ основного предложенія. Мы обойдемь молчаніемъ тѣ удачныя и правильныя мысли, которыя были высказаны во вступительной части его, для того, чтобы тотчасъ же отмѣтить характерную точку зрѣнія, свойственную этому предцить къ невърному заключелно, булто существують, толойножок

Тоть, кто внесъ предложеніе, желаеть, чтобы промысль свободной печати, пользовался общей свободой всѣхъ прочихъ промысловъ, чего еще до сихъ поръ нътъ; такое внутреннее противоръче является, по его мнъню, классическимъ образцомъ непослъдовательности. "Работа рукъ и ногъ—свободна, а работа головы находится подъ опекой. Безъ сомнънія, головъ наиболье выдающихся? Конечно, рычь идеть, упаси Боже,
не о цензорахъ. Кому Богъ даеть чинъ, тому онъ даеть ил
разумъ".

Въ первый моменть, въ ръчи представителя городского со-словія поражаеть то обстоятельство, что онь включаеть свободу печати въ свободу промысловъ. Но мы не можемъ целикомъ отвергнуть взгляда оратора. Рембрандть изобразилъ Божью Матерь, въ виде голландской крестьянки, почему же нашему оратору не изображать свободу въ томъ видь, который ему наиболже миль и доступень? от волинендол онежегод

Не можемъ мы также отказать разсужденію оратора въ относительной правильности. Даже если разсматривать печать, какъ промысель, то ей, какъ работь головы, следуеть предоставить больше свободы, чёмъ работь рукъ и ногъ. Освобож-деніе рукъ и ногъ получають человъческое значеніе только путемъ освобежденія головы, ибо, какъ извъстно, руки и ноги дълаются человъческими руками и ногами только благодаря головъ, которая ими управляетъ.

Какъ ни оригиналенъ на первый взглядъ способъ разсужденія нашего оратора, мы должны все-таки ему оказать безусловное предпочтеніе передъ безсознательнымъ, туманнымъ и висящимъ въ воздухъ разсужденіемъ тъхъ нъмецкихъ либераловъ, которые думають оказать честь свободъ, посадивъ



ее на звъздное небо воображенія, вмъсто того, чтобы оставить ее на твердой почвъ дъйствительности. Этимъ резонерамъ воображеніи, этимъ сантиментальнымъ энтузіастамъ, которые боятся всякаго прикосновенія ихъ идеала съ ничтожной дъйствительностью, какъ профанціи, мы, нъмцы, отчасти обязаны тъмъ, что свобода у насъ до сихъ поръ осталась воображеніемъ и сентиментальностью.

Нъмцы, вообще, склонны къ сентиментамъ и избытку

чувствъ, они питаютъ нѣжность къ музыкѣ голубого воздуха. Поэтому отрадно, когда передъ ними великій идейный вопросъ тражтуется съ простой, реальной, почерпнутой изъ ближайшей дѣйствительности, точки зрѣнія. Нѣмцы по природѣ очень набожны, очень върноподданны, слишкомъ преисполнены благоговънія. Изъ одного только уваженія къ идеямъ, они ихъ не воплощають въ дъйствительности. Они создають имъ культь обожанія, но не культивирують ихъ. Поэтому путь, избранный ораторомъ, повидимому, самый подходящій для того, чтобы поближе познакомить нѣмца съ его идеями и показать ему, что онъ имъетъ здъсь дъло не съ чъмъ-нибудь недосягаемымъ, а со своими ближайшими интересами, словомъ, ему нужно перевести языкъ боговъ на обыкновенный человъческий языкъ. от на виниван агранова витуандо са

Какъ извъстно, греки находили въ египетскихъ, ливійкакъ извъстно, греки находили въ египетскихъ, ливискихъ, даже въ скиоскихъ богахъ своего Аполлона, свою Аоину, своего Зевса, и на всъ особенности чужого культа смотръли, какъ на второстепенную вещь. Поэтому иътъ ничего предосудительнаго въ томъ, что итмецъ признаетъ въ незнажомой ему богинъ свободы печати одну изъ своихъ знакомыхъ богинъ и, согласно этому, называетъ ее свободой промысловъ или свободой собственности.

мысловъ или свооодой сооственности.

Именно потому, что мы признаемъ точку зрѣнію оратора и умѣемъ ее цѣнить, мы подвергаемъ ее болѣе рѣзкой критикѣ.

"Можно себѣ легко представить существованіе цехового строя рядомъ со свободой печати, потому что умственный промыселъ можетъ быть признанъ занятіемъ высшаго порядка и поставленъ рядомъ съ семью древними свободными искусствами; но существованіе подневольной печати рядомъ со свободой промысловъ—это грѣхъ противъ святого духа".



Конечно! Подчиненный видъ свободы само собою признается безправнымъ, если ея высшій видъ ограниченъ въ правахъ. Право отдъльнаго гражданина—глупость, если не признано право государства. Если свобода вообще, признана, то само собой понятно, что отдъльный видъ свободы тъмъ болъе охраняется, чъмъ болъе величественное и развитое существованіе получила въ немъ свобода. Если правомърно существованіе полипа, въ которомъ едва теплится жизнь природы, то тъмъ болъе правомърна жизнь льва, въ которомъ жизнь бурлитъ и рычитъ.

Но какъ ни върно заключеніе, что право высшаго вида слъдуетъ считать доказаннымъ посредствомъ права низшаго вида, — столь же превратенъ тотъ пріемъ, который примъняетъ мъру изъ низшей сферы къ высшей и обращаетъ законы разумные внутри собственныхъ ея границъ въ законы комическіе, навязывая имъ роль законовъ въ сферъ, внъ ихъ стоящей. Это все равно, что заставить великана жить въ домъ

пигмея.

Свобода промысловъ, свобода собственности, совъсти, печати, судовъ все это виды одного и того же общаго рода, свободы безъ спеціальной клички. Но глубоко ошибочно, — изъ-за единства забывать различія, и совершенно опредъленный видъ дълать мърой, нормой, для всъхъ другихъ видовъ? Это—нетерпимость одного вида свободы, который переноситъ другія только тогда, когда онъ сами отъ себя отрекаются и объявляють себя его вассаллами.

Свобода промысла—есть свобода промысла и только; она не является никакой другой свободой, потому что въ ней природа промысла безпрепятственно выражаеть свои внутреннія жизненныя правила; свобода судовь есть свобода судовь, если суды слідують собственнымь правовымь нормамь, а не нормамь другой сферы, напр., религіи. Каждая опреділенная сфера свободы есть свобода опреділенной сферы, подобно тому, какъ каждый опреділенный образъжизни есть образъжизни опреділеннаго характера. Какъ нелізпо было-бы требованіе, чтобы левь устроиль свою жизнь согласно законамь жизни полипа! Какъ превратно было-бы мое представленіе о сочетаніи и единствів организма, если-бы я сділаль такой выводь: разъ руки



и ноги функціонирують по своему, то глазъ и ухо, эти органы, которые отрывають человѣка отъ его идивидуальности и дѣлають его зеркаломъ и эхомъ вселенной, должны имѣть еще большее право на активную работу, другими словами, ихъ дѣятельность должна быть возведенной въ степень дѣятельностью рукъ и ногъ.

Какъ въ міровой системѣ, каждая планета вращается только вокругъ солнца, вращаясь въ то же время вокругъ самой себя, такъ и въ системѣ свободы каждый видъ ея со всѣмъ своимъ міромъ вращается вокругъ центральнаго солнца свободы, продолжая въ то же время свое движеніе вокругъ

себя самой.

Превращать свободу печати въ разновидность свободы промысловъ, значить защищать ее, убивъ ее передъ защитой; развѣ я не уничтожаю свободы опредъленнаго вида, если я требую, чтобы она была свободна по образцу другого вида? Твоя свобода это не моя свобода, говорить печать промыслу. Какъ ты подчиняешься законамъ своей сферы, такъ я хочу подчиняться законамъ своей. Быть свободной по твоему образцу—это для меня тоже, что вовсе не быть свободной, подобно тому, какъ столяръ почувствовалъ свободы своего ремесла, а ему, какъ эквивалентъ, дали-бы свободу философовъ.

Мы хотимъ высказать мысль оратора въ обнаженномъ ея видѣ. Что такое свобода? Отвѣтъ: свобода промысловъ, подобно тому какъ студентъ на вопросъ: что такое свобода? отвѣтилъ бы: свободная ночь.

Подъ свободу промысловъ съ тѣмъ же правомъ, какъ свободу печати, можно было бы подвести и всякій другой видъ свободы. Судья занимается правомъ, проповѣдникъ религіей, отецъ семейства—исправленіемъ дѣтей; но развѣ я этимъ выразилъ существо судебной, религіззной, нравственной свободы?

Можно было бы также перевернуть весь ходъ разсужденій и назвать свободу промысловь свободой печати. Разв'в въ промыслахь работають только руками и ногами, а не головой также? Разв'в языкъ слова есть единственный языкъ мысли?



Разв'в механикъ не говоритъ своей паровой машиной внятно для моего уха, фабрикантъ кроватей — ясно для моей спины, а поваръ вразумительно для моего желудка? Разв'ь это не противор'вчіе, что вс'в виды печати дозволены, кром'ь одной, которая обращается къ моему духу при помощи типографской краски?

Если я хочу защищать свободу какой-либо сферы, если я хочу ее понять, то я должень уразумъть существо ея характера, а не судить о ней по ея внъшнимь отношеніямъ. Но развъ печать остается върной своему характеру, развъ она дъйствуеть согласно своей благородной природъ, развъ она свободна, если она унижается до уровня свободы промысла? Конечно, писатель долженъ добывать себъ средства къ существованію, этобы жить и писать, но онъ никоимъ образомъ не долженъ жить и писать для того, чтобы промышлять.

отов Когда Беранже поеть: вы выдай вис наболе огдость и вызо-

то въ этой угрозѣ заключается та ироническая мысль, что какъ только поэть уходить изъ своей сферы, поэзія дѣлается для него средствомъ.

Писатель никоимъ образомъ не смотритъ на свои работы, какъ на средство. Онб — сами себб цбль, онб такъ мало могутъ бытъ средствомъ для него и для другихъ, что онъ жертвуетъ ради нихъ своимъ существованіемъ, когда это нужно, и инымъ путемъ, нежели религіозный проповъдникъ, дблаетъ своимъ принципомъ: слушаться Бога, больше, чѣмъ людей, въ число которыхъ онъ включаетъ и себя самого со своими человъческима потребностями и желаніями. Пустъ портной, которому я заказалъ парижскій фракъ, принесетъ мнѣ римскую тогу на томъ основаніи, что она больше соотвътствуетъ вѣчнымъ законамъ красоты! Первая вольность печати заключается въ томъ, чтобы не быть промысломъ. Писателя, который низводить ее на степень матеріальнаго средства, надлежитъ подвергнуть цензурѣ, какъ наказанію за его



рабство, а впрочемъ само его существование уже является для него наказаниемъ.

Конечно, пресса существуеть также, какъ промысель, но тогда она становится дѣломъ не писателя, а типографа и книготорговца. Здѣсь же вѣдь рѣчь идеть не о свободѣ типо-

графовъ и книготорговцевъ, а о свободъ печати.

Нашъ ораторъ, на самомъ дѣлѣ не останавливается на томъ, что право на свободу печати слѣдуетъ считатъ доказаннымъ, благодаря свободѣ промысловъ; онъ требуетъ также, чтобы свобода печати подчинялась законамъ о свободѣ промысловъ, вмѣсто того, чтобы подчиняться своимъ собственнымъ законамъ. Онъ полемизируетъ даже противъ докладчика комиссіи, который сталъ на болѣе высокую точку зрѣнія въ вопросѣ о свободѣ печати, и запутывается въ требованіяхъ, которыя могутъ возбуждатъ только смѣхъ, ибо смѣшно, когда законы низшей сферы примѣняются къ высшей, подобно тому какъ дѣти становятся смѣшными, когда начинаютъ говорить патетически.

"Онъ говорить о цеховыхъ и не цеховыхъ писателяхъ. Этимъ онъ хочетъ сказать, что использование чужого права въ области свободы промысловъ обставлено нѣкоторыми условіями, которыя легче или труднѣе выполнить сообразно каждому ремеслу". "Каменщики, плотники и строители, конечно, должны удовлетворять такимъ условіямъ, отъ которыхъ свободно большинство другихъ промысловъ". "Его предложеніе имѣетъ въ виду право частное, право для отдѣльныхъ случаевъ, а не общее право".

Прежде всего, кто будеть присуждать званіе цехового мастера? Канть не призналь бы за Фихте права на званіе философа, Птоломей — за Коперникомь права на званіе астронома, Бернгардь фонь-Клерво—за Лютеромь права на званіе теолога. Каждый ученый причисляеть своихь критиковъ къразряду лиць, не имъющихъ права на званіе "пехового мастера". Или можеть быть неучи будуть судить, кто имъеть право на званіе ученаго? Очевидно это придется предоставить "не цеховымъ мастерамъ", ибо цеховые не могуть быть судьями въ собственномъ дълъ. Или можеть быть это право должно быть связано съ принадлежностью къ опредъленному сословію! Сапожникъ Яковъ Бемъ быть великимъ философомъ.



Нѣкоторые философы по призванію—суть только большіе сапожники.

Впрочемъ, если говорить о "цеховыхъ и не цеховыхъ мастерахъ", то нужно быть послѣдовательнымъ и не успоканваться на различіи между отдѣльными писателями; надо промысель печати онять-таки раздѣлить на разные виды; каждой отрасли писательской дѣятельности надо дать особое званіе; или, можетъ быть, "цеховой мастеръ" долженъ писать на всѣ темы? Уже напередъ можно сказать, что сапожникъ болѣе способенъ писать на кожѣ, чѣмъ юристъ. Поденщикъ также, какъ и теологъ способенъ писать на тему, нужно ли работать по праздникамъ или нѣтъ. Поэтому, если мы способность свяжемъ съ опредѣленными условіями, то каждый гражданинъ государства окажется цеховымъ и не цеховымъ писателемъ, цеховымъ въ области своего призванія и не цеховымъ во всемъ остальномъ.

Не говоря уже о томъ, что міръ печати при такомъ способъ разсужденія сталь бы не связью объединяющей весь народъ, а средствомъ его раздѣленія, что различіе между сословіями фиксировалось бы и исторія литературы была бы низведена на степень естественной исторіи различныхъ духовныхъ звъриныхъ породъ; не говоря уже о столкновеніяхъ и коллизіяхь, между смежными породами, коллизіяхь, которыя неразрѣшимы и неизбѣжны; не говоря уже о томъ, что бездарность и ограниченность сдълались бы закономъ для печати, ибо индивидуальное я признаю одухотвореннымъ и свободнымъ только въ сочетаніи съ общимъ, а не въ отдъленіи отъ него; не говоря уже обо всемъ этомъ и полагая, что чтеніе также важно, какъ и писаніе, нужно согласиться, что должны также быть "цеховые и не цеховые" читатели. Эта идея послъдовательно была проведена въ Египтъ, гдъ жрецы, эти "цеховые" писатели, были въ одно и тоже время единственными "цеховыми" читателями. И по нашему мнѣнію было бы очень цѣлесообразно, если бы "цеховые" писатели одни только имъли право покупать и читать свои произведенія.

Какая не послѣдовательность! Разъ господствуеть привилегія, правительство имѣеть полное право утверждать, что единственно оно — "цеховой мастеръ" въ своемъ поведеніи, ибо



если вы, внѣ вашего особеннаго сословія, имѣете право, какъ граждане государства, писать о самыхъ общихъ дѣлахъ, о государствѣ, то развѣ другіе смертные, которыхъ вы хотите исключить, не имѣютъ права, какъ обыкновенные люди судить о чемъ-то совершенно частномъ, а именно о вашихъ правахъ и вашихъ писаніяхъ?

Возникаетъ комическое противоръчіе; "цеховой мастеръ", оказывается, могъ бы писать о государствъ безъ дозволенія цензуры, но "не цеховой мастеръ" не долженъ былъ бы безъ

дозволенія цензуры писать с "цеховыхъ мастерахъ".

Едва ли свобода печати будеть достигнута тѣмъ, что вы рекрутируете толпу оффиціальныхъ писателей изъ вашихъ рядовъ. "Цеховые" авторы сдѣлались бы оффиціальными авторами, борьба между цензурой и свободой печати обратилась бы въ борьбу между "цеховыми" и "не цеховыми" писателями.

Совершенно справедливо возражаль на это члень 4-го сословія: "если еще должень существовать цензурный гнеть, то онь должень быть одинаковымь для всёхь партій, это значить что ни одинь классъ граждань въ этомь отношеніи не должень имѣть преимуществь предъ другимь". Мы всё подчинены цензурѣ, подобно тому какъ въ деспотіи—всѣ равны, если и не по достоинству, то по ничтожности; а такой видъ свободы печати, о которомь выше говорилось, хочеть ввести олигархію въ область духа. Цензура въ предѣлахъ своей компетенціи объявляеть писателя въ крайнемъ случаѣ неудобнымъ, неподходящимъ. Эта же свобода печати исходитъ изъ намѣренія предвосхитить всемірную исторію, предупредить голосъ народа, который до сихъ поръ одинъ только судилъ, какой писатель имѣеть право на званіе призваннаго "цехового" и какой — нѣтъ. Если Солонъ позволялъ себѣ судить о человѣкѣ только по окончаніи его жизни, послѣ его смерти, то высказанному сейчасъ взгляду о человѣкѣ дозволяется судить еще до его рожденія.

Печать—это универсальный способъ для индивидуума подълиться съ окружающими своимъ духовнымъ содержаніемъ. Она не придаетъ никакого значенія личности, а только ея интелигентности. Что же вы хотите оффиціально закрѣпить это



духовное стремленіе къ общенію посредствомъ особенныхъ внѣшнихъ признаковъ? Чѣмъ я не могу быть для другихъ, тѣмъ я не могу быть и для себя. Если я не въ состояніи быть для другихъ духовнымъ существомъ, то я не могу имъ быть и для себя, или вы хотите отдѣльнымъ лицамъ дать привилегію быть духовными существами? Поскольку каждый учится читать и писать, по стольку каждый долженъ читать и писать.

А для кого же это раздѣленіе писателей на цеховыхъ и не цеховыхъ должно быть введено?. Конечно, не для дѣйствительно "цеховыхъ", такъ какъ они смогутъ доказать свое право и безъ этого, слѣдовательно, оно существуетъ для "не цеховыхъ", которые хотятъ внушить къ себѣ уваженіе, становясь подъ защиту привилегій?

нодъ защиту привилегій?

Къ тому же, этотъ палліативъ отлично можетъ обойтись безъ законовъ о печати, потому что, какъ замѣтилъ одинъ ораторъ изъ крестьянскаго сословія: "а развѣ привелигированный не можетъ выйти за предѣлы своей компетенціи и подлежать на этомъ основанін наказанію? Такимъ образомъ законъ о печати необходимъ во всякомъ случаѣ, такъ что мы сталкиваемся съ тѣми же затрудненіями, какъ и при общемъ законѣ о печати".

Когда нѣмецъ оглядывается на свою собственную исторію,

Когда нѣмецъ оглядывается на свою собственную исторію, то онъ находитъ главную причину своего медленнаго политическаго развитія, такъ же, какъ и медленнаго развитія его бѣдной литературы до Леесинга—въ институтъ "цеховыхъ" писателей. Ученые опредѣленной спеціальности, цеха, привилегіи, Doktoren ùnd sonstige Ohren, бездарные университетскіе писатели 17-го и 18-го столѣтія съ ихъ напыщеннымъ важнымъ педантизмомъ и мало "микрологическими" диссертаціями — стали поперекъ между народомъ и духомъ, между жизнью и наукой, между свободой и человѣкомъ. "Не цеховые же" писатели создали нашу литературу. Готшедъ и Лессингъ — выбирайте между однимъ "цеховымъ" и другимъ "не цеховымъ" авторомъ!

цеховымъ авторомъ! Мы вообще не любимъ "свободы" въ единственномъ числѣ, которая въ жизни проявляется только во множественномъ числѣ Англія всѣмъ содержаніемъ своей политической жизни исто-



ріи даеть доказательство того, какъ опасень для "свободы" ограниченный горизонть свободь".

Ces mots "libertés", говорить Вольтерь, "privillèges", supposent l'assujetissement. Des libertés sont des exemptions de la servitude générale" ("Эти слова "свободы", "привилегіи" предполагають зависимость. "Свободы" это исключенія изъ гобщаго рабства") нь дтэодном ее датител эпудд ваграватыя

Когда нашь ораторь хочеть далее отстранить оть свободы печати анонимныхъ писателей и читателей, пишущихъ подъ псевдонимомъ и подчинить ихъ цензуръ, то мы можемъ ему замътить, что фамилія писателя въ печати не относится къ существу дъла, но что тамъ, гдъ господствуетъ законъ о печати, издатель, а черезъ него и анонимный писатель или псевдонимъ подлежатъ суду. Къ тому же Адамъ, когда давалъ названіе всёмъ животнымъ рая, забыль дать имя нёмецкимъ газетнымъ корреспондентамъ и безъ имени они останутся присно и вовъки въковъ. ново ве зтарчато чика отдележ пиджки н

вы Если тоть, кто внесъ предложение, стремился ограничить число пишущихъ лицъ, субъектъ печати, то другіе земскіе чины хотять ограничить содержание печати, кругь ея дъйствія, и на этой почвъ начинается пошлый базарный торгь, сколько свободы должна получить свобода печати. Одно земское сословіе хочеть ограничить предметы въдънія печати матеріальными, духовными и дерковными отношеніями Рейнской провинціи; другое хочеть установить "приходскіе листки", самое названіе которыхъ указываеть на ихъ ограниченное содержаніе; третье совстви хочеть, чтобы въ каждой провинціи можно было бы писать свободно только въ одной газеть!!! данай ондстоп. вято

Всв эти попытки напоминають того учителя гимнастики, который предлагаль следующій наилучшій способь научиться прыгать—это подвести ученика къ большой ямъ и отдъльными ниточками указывать, какъ далеко онъ долженъ прыгать черезъ яму. Понятно, ученикъ долженъ сначала научиться прыгать, и въ первый день не долженъ прыгать черезъ всю яму, но отъ времени до времени нитка должна удлиняться. Къ сожалвнію ученикь на первомь же урокв упаль вь яму и до сихъ поръ лежитъ тамъ. Учитель былъ нъмецъ, а ученикъ назывался такомъ король, какъ нашъ, прусскому правительству" вдобовО,



Въ среднемъ защитники свободы печати въ шестомъ рейнскомъ ландтагѣ отличаются отъ своихъ противниковъ, не по содержанію высказываемыхъ ими взглядовъ, но по направленію; устами послѣднихъ сословная ограниченность нападаетъ на прессу, а устами первыхъ эта же ограниченность ее защищаетъ.

Одни хотятъ оставить привилегію только въ рукахъ правительства, другіе хотятъ ее распространить на многихъ лицъ; одни хотятъ полной цензуры, другіе—частичной, одни хотятъ 3/8 свободы печати, другіе ея вовсе не хотятъ. Господи, защити меня отъ моихъ друзей! Но рѣчи докладчика и нѣкоторыхъ членовъ крестьянскаго сословія совершенно расходятся

съ общимъ духомъ ландтага.

Докладчикъ между прочимъ замъчаетъ: "Въ жизни народовъ, какъ и въ жизни отдъльнаго человъка, бываютъ такія моменты, когда цъпи елишкомъ продолжительной опеки становятся невыносимы, когда всё стремятся къ самостоятельности и каждый желаеть самь отвъчать за свои поступки" "Это значить, что цензура пережила сама себя; тамъ же, гдъ она продолжаеть существовать, она считается ненавистнымъ гнетомъ, который запрещаеть писать о томъ, о чемъ открыто говорять". Пиши, какъ говоришь, и говори, какъ пишешь, учатъ насъ уже наши первые учителя. Позже это истолковывается такъ: говори то, что тебъ предписано, и пиши то, что тебъ говорять. "Какъ только неудержимое теченіе времени развиваеть какіе-либо новые, важные интересы и выдвигаеть новую потребность, для которой дъйствующее законодательство не содержить достаточных определеній, новое положеніе общества должно быть регулировано при помощи новыхъ законовъ, Сейчась мы имъемъ дъло какъ разъ съ такимъ случаемъ". Это-правильный историческій взглядь по сравненію съ тімь фантастическимъ взглядомъ, который убиваетъ разумъ исторіи для того, чтобы затъмъ кости его, какъ историческія реликвіи, сдёлать предметомъ поклоненія.

"Задача (законодательства о печати) можеть быть не легко разрѣшается; первый опыть, который будеть сдѣланъ, можеть оказаться очень неудачнымъ! Но законодателю, который впервые этимъ займется, будуть благодарны всѣ государства, а при такомъ королѣ, какъ нашъ, прусскому правительству, можетъ



быть, предстоить честь пойти впереди всёхъ другихъ странъ

по тому пути, который единственно ведеть къ цѣли".
Какъ изолированно стоить этоть мужественный, достойный, рѣшительный взглядъ въ ландтагѣ, это мы показали всѣмъ нашимъ предыдущимъ изложеніемъ, на это также слишкомъ часто указываетъ предсѣдатель самому докладчику, это выра-

часто указываеть предсъдатель самому докладчику, это выразилъ, наконецъ, въ негодующихъ, но прекрасныхъ словахъ
одинъ членъ крестьянскаго сословія:
"Вокругъ нашего вопроса заварилась горячая каша" "Человъческій духъ долженъ свободно развиваться по своимъ
собственнымъ свойственнымъ ему законамъ и дълиться тъмъ, что
онъ добылъ, иначе чистый животворящій источникъ превратится въ болото, распространяющее заразу. Если какой-нибудь
народъ приспособленъ къ свободъ печати, такъ это навърно
минный спокойный нъменяй народъ который скорото нужнамирный, спокойный нѣмецкій народь, который скорѣе нуждал-ся бы въ понуканіи, благодаря своей флегматичности, чѣмъ въ-сумашедшей рубашкѣ цензуры. Имѣть на своемъ пути препят-ствія, когда хочешь подѣлиться своими чувствами и мыслями съ другими—это очень похоже на сѣверо-американскую систетви обы оказаться рядомь съ этимъ разслабленнымъ наропомъ!"

Если мы теперь бросимъ общій взглядъ на всъ дебаты по вопросу о печати, то мы не сможемъ подавить въ себъ того ощущенія пустоты и скуки, которое возбуждаетъ въ насъ собраніе представителей рейнской провинціи, собраніе, которое все время колебалось между умышленной закоснълостью привилегіи и естественномъ безсиліемъ либерализма, мы должны, къ нашему сожальнію, прежде всего отмътить почти полное отсутствие общихъ и широкихъ точекъ зрѣнія, равно какъ небрежную поверхносность, съкоторой дебатировался и разрѣшался вопросъ о свободѣ печати, и мы спрашиваемъ себя еще разъ: не слишкомъ ли далеко лежитъ печать отъ земскихъ чиновъ, не слишкомъ ли мало она соприкасается съ ними, чтобы они



могли защищать свободу печати съ обстоятельностью и серь-

Свобода печати поднесла свое прошеніе земскимъ чинамъ

съ самой деликатной captatio benevolentiae. за пивателний

Въ самомъ началъ засъданія какъ разъ возникли пренія, во время которыхъ предсъдатель замътиль, что труды ландтага подлежать, какъ и всъ другія произведенія печати, цензуръ, но что здъсь онъ исправляеть должность цензора.

Развъ въ этомъ вопросъ дъло свободной печати не совпадало со свободой ландтага? Это столкновение тъмъ интереснъе, что въ данномъ случат ландтагу, въ его собственномъ лицъ, было дано доказательство того, какъ отсутствіе свободы печати дълаеть всъ другія свободы иллюзорными. Каждый видъ свободы обусловливаеть всв другіе виды, какъ одинь члень тела обусловливаеть всв остальные. Какъ только ставится вопросъ о какой-либо отдельной свободе, тотчась же ставится вопрось о свободъ вообще. Всякій разъ какъ отвергають какой-либо видъ свободы, вмъстъ съ тъмъ отвергаютъ также свободу вообще, которая можеть уже вести только мнимое существование, и это уже дъло простого случая, при какихъ обстоятельствахъ гнетъ и произволь проявять свою силу. Отсутствіе свободы есть правило, а свобода-исключеніе, когда надъ жизнью господствують случайности и произволь. Поэтому нъть ничего болье ошибочнаго, чемъ воображать, когда речь идеть о какомълибо отдельномъ виде свободы, что это отдельный вопросъ. Это тоть же самый общій вопрось внутри опредъленной сферы. Свобода остается свободой, выражается ли она въ типографскихъ краскахъ, или въ своей основъ, въ совъсти, или въ политическомь собраніи; но тоть лойяльный другь свободы, у котораго чувство чести уже оскорблено, когда онъдолженъ ръшить: быть или не быть свободь? Этоть другь приходить въ изумленіе передъ тімъ естественнымъ видомъ, въ которомъ является свобода, онъ въ этомъ видъ не узнаеть рода, онъ изъза печати забываеть свободу, онь воображаеть, что судить какое-то чужое существо, въ то время, какъ онъ осуждаеть самаго себя. Такъ осудиль самаго себя шестой рейнскій ландтагь, когда онъ вынесь свой приговорь свободъ печати.

Премудрые практические чиновники, которые въ глубинъ



души и совершенно неосновательно думають то, что Перикль высказаль громко и съ полнымъ правомъ. "Я—человѣкъ, который со всякимъ можетъ помѣряться, какъ въ знаніи государственныхъ нуждъ, такъ и въ искусствѣ развивать ихъ", эти наслѣдственные откупщики политической мудрости будутъ пожимать плечами и съ важностью оракуловъ замѣтятъ, что защитники свободы печати переливаютъ изъ пустого въ порожнее, такъ какъ мягкая цензура лучше, чѣмъ рѣзкая свобода печати. Мы отвѣтимъ имъ на это тѣми словами, съ которыми спартанцы Спертіасъ и Булисъ обратились къ персидскому сатрапу Гидарнесу:

"Государь! совъть, который ты намь даль, имъеть двъ стороны, которыя неодинаково въсять. Одну сторону его которую ты намъ предлагаешь, ты самъ испыталъ; другая сторона осталась для тебя неиспытанной. Ты знаешь, что значить быть рабомъ,—но свободы ты еще никогда не испыталъ и не знаешь, сладка ли она или нъть. Ибо, если бы ты ее испыталъ, то ты посовътовалъ бы намъ сражаться за нее не

только коньями, но и топорами".

